



АЛЕКСАНДР ЛИВЕРГАНТ

Вирджиния

ВУЛФ:

«МОМЕНТЫ БЫТИЯ»

Александр Ливергант

**Вирджиния Вулф:
«МОМЕНТЫ БЫТИЯ»**

«АСТ»

2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Ливергант А. Я.

Вирджиния Вулф: «моменты бытия» / А. Я. Ливергант — «АСТ»,
2018

ISBN 978-5-17-109256-6

Александр Ливергант – литературовед, критик, главный редактор журнала «Иностранная литература», переводчик (Джейн Остен, Генри Джеймс, Владимир Набоков, Грэм Грин, Джонатан Свифт, Ивлин Во и др.), профессор РГГУ. Автор биографий Редьярда Киплинга, Сомерсета Моэма, Оскара Уайльда, Скотта Фицджеральда, Генри Миллера и Грэма Грина. Новая книга «Вирджиния Вулф: “моменты бытия”» – не просто жизнеописание крупнейшей английской писательницы, но «коллективный портрет» наиболее заметных фигур английской литературы 20–40-х годов, данный в контексте бурных литературных и общественных явлений первой половины XX века.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-109256-6

© Ливергант А. Я., 2018

© АСТ, 2018

Содержание

Глава первая	6
1	6
2	11
Глава вторая	17
1	17
2	21
Глава третья	25
Глава четвертая	31
1	31
2	39
Глава пятая	42
Глава шестая	48
1	48
2	53
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Александр Яковлевич Ливергант

Вирджиния Вулф: «моменты бытия»

© Ливергант А.Я.

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

*...что может быть занятнее,
чем биография писателя?*

В. Вулф. «Я – Кристина Россетти»

*Что поделаешь, читая биографию,
мы всё видим в несколько ином свете.*

Там же

Глава первая

Гайд-парк-гейт 22: Радости

1

Когда в 1875 году сорокатрехлетний радикал, атеист, вольнодумец, издатель и автор первого выпуска многотомного «Словаря национальной биографии» сэра Лесли Стивен потерял умершую в расцвете лет жену (Харриет Мэриан, младшую дочь Уильяма Теккерея; женщину не слишком красивую, не слишком умную и не слишком заметную), – он посчитал, что жизнь кончилась. Она же только начиналась: незадолго до смерти жены в доме Стивенсов впервые появилась ее подруга – сама, несмотря на молодость, вдова с тремя детьми, – миссис Герберт Дакуорт, урожденная Джулия Джексон.

Очень скоро Джулия сблизилась с домочадцами покойной Харриет, в особенности же с главой семьи, и спустя два с половиной года, в марте 1878-го, вышла за Лесли Стивена замуж: сорокапятилетний ученый муж воспылал к своей тридцатидвухлетней утешительнице и советчице мгновенной и нешуточной любовью. Поначалу был отвергнут безутешной вдовой – после смерти любимого мужа, совсем еще молодого юриста Герберта Дакуорта, с которым Джулия прожила всего-то четыре года, «вся жизнь казалась ей кораблекрушением», – однако продолжал осаду и своего добился. И тем самым убил двух зайцев: не только обрел верную и заботливую жену, с которой прожил в мире и согласии без малого двадцать лет, но и избавился от весьма обременительной опеки своей золовки Энни, сестры покойной жены, взбалмошной, сверхчувствительной болтушки, одолевавшей сэра Лесли чтением вслух своих бездарных романов, таких же многословных, как и она сама.

За последующие пять лет Джулия родила сэру Лесли четверых детей: двух мальчиков – Тобиаса и Адриана, и двух девочек – Ванессу, самую старшую из четверых, и Вирджинию. Помимо них, в доме на Гайд-парк-гейт 22 росли еще трое детей Джулии от первого брака – сыновья Джордж и Джеральд и дочь Стелла (своим именем Ванесса обязана ей¹). Лаура, дочь сэра Лесли от первого брака, – девушка, как и ее бабка, жена Теккерея, психически неполноценная, – жила не с единокровными братьями и сестрами в лондонском доме Стивенсов, а в психиатрической клинике, куда ее поместили еще в младенчестве.

У Бена Джонсона, известного драматурга времен Елизаветы, есть пьеса «Всяк в своем нраве» – вот и в детской, на последнем этаже дома на Гайд-парк-гейт, каждый из детей тоже был «в своем нраве». Что, скажем к слову, ничуть не мешало юным Стивенам всё делать вместе – вместе играть, вместе читать, вместе заниматься; родители старательно прививали детям интерес к коллективным играм – не этим ли – по контрасту – вызвана тяга Вирджинии, когда она вырастет, к независимости и одиночеству?

Над самым старшим, Джорджем – правильным, серьезным и не слишком умным – издевались все без исключения. А когда подросли, рисовали на него карикатуры, придумывали смешные истории... Джордж надувался, но ненадолго. Ванесса взяла на себя, как старшей дочери и положено, роль эдакой матроны, доброй, но строгой нянюшки. Тоби – толстый, неуклюжий, плаксивый, но при этом веселый, шумный, общительный (весь в своего дядю Джеймса Фитц-джеймса Стивена) – был всеобщим любимцем. Строгая и принципиальная Ванесса всё брату прощала и опекала его больше и заботливее остальных. Младшие же дети были антиподами. Адриан, любимчик матери, – тихий, незаметный, какой-то забитый, точь-в-точь отец в его воз-

¹ Стелла Джонсон и Ванесса (Эстер) Ваномри – подруги и корреспондентки Джонатана Свифта.

расте. Розовощекая, зеленоглазая Вирджиния – напротив, говорлива, требовательна, вспыльчива; Ванесса вспоминала, что в мгновения гнева личико младшей сестры становилось «очаровательно огнедышащим» (“the most lovely flaming red”).

Невозможно было предвидеть, что Козочка, как в течение многих лет домашние называли Вирджинию, вытворит в следующий момент, как себя поведет, что учинит. Будет ли распевать песни, или куда-то убежит, или, в ожидании молока с печеньем, станет яростно колотить кулачками по столу. Или примется задавать братьям и сестрам совершенно неожиданные и «неполиткорректные» вопросы, вроде: «Кого ты больше любишь, папу или маму?» Столь же трудно было предвидеть, что с возрастом «огнедышащая» круглолицая светловолосая девочка превратится в высокую, худую, задумчивую, погруженную в себя, словно вылепленную из мрамора темноволосую красавицу, какой мы привыкли видеть Вирджинию Вулф на многочисленных портретах и фотографиях.

Установившиеся в детской роли останутся неизменными и в дальнейшем, когда Стивены вырастут. С Адрианом, младшим братом, будущим психиатром, человеком неуверенным в себе, меланхоличным, нескладным, отношения у Вирджинии, прожившей с ним под одной крышей не один десяток лет, всегда были сложные. Для нее Адриан всегда оставался «бедным маленьким мальчиком».

Роль старшего сына Стивенов Тобиаса была совершенно иной. Как и Адриан, Тоби, особенно поначалу, был нерадив, учился неважно, не попал в Итон – и вынужден был довольствоваться куда менее престижным Клифтон-колледжем, однако нотации сестрам и младшему брату, для которых он всегда, до самой смерти, оставался высшим авторитетом и предметом для подражания, почитать любил.

«От меня он всегда требовал, чтобы я ясно выражалась, говорила то, что хочу сказать», – вспоминала Вирджиния.

С возрастом Тоби сильно изменился, неуживчивость и легкомыслие куда-то исчезли, он сделался усидчив; заинтересовался правоведением, увлекся охотой и зоологией: завел тетрадь, где кропотливо зарисовывал птиц и животных, описывал их повадки. В Кембридже окружил себя компанией интеллектуалов, в беседах с ними засиживался до поздней ночи. Стал не только семейным баловнем, но и университетским.

Ванессу не все любили, но все слушались. Слушались и подражали, даже эксцентричная и неуправляемая Красотка – еще одно домашнее прозвище Вирджинии – не стала исключением. Отношения со старшей сестрой – красавицей, уверенной в себе, практичной, всегда знавшей, к чему стремиться, типичной «победительницей» и «отличницей» – у Вирджинии всегда были самые близкие и в то же время очень непростые.

«Мои отношения с Ванессой, – заметила спустя много лет Вирджиния Вулф, – слишком глубоки, чтобы устраивать ей сцены».

Сцен между ними и впрямь не было, ни та, ни другая этого бы не допустили. Отношения сестер Стивен – постоянный, нередко мучительный процесс взаимного притяжения и отталкивания, как это бывает лишь с очень близкими людьми. Вирджиния ревновала сестру, завидовала ей, обижалась на нее, случалось – отказывалась ее понимать, но при этом всегда прислушивалась к ее мнению и не скрывала, как много Ванесса для нее значит, в том числе и как для писателя; написала однажды сестре:

«Я всегда чувствую, что для тебя пишу в большей степени, чем для кого-нибудь еще».

Союз сестер был не только человеческим, но и творческим: художница Ванесса будет иллюстрировать романы писательницы Вирджинии; о влиянии живописи старшей сестры на прозу младшей можно было бы написать книгу.

Зато со Стеллой, дочерью Джулии от первого брака, похожей на мать и внешне (бледна, золотые волосы, мечтательные голубые глаза), и внутренне (покладиста и жертвенна), отношения у Вирджинии были проще некуда. Со Стеллой, впрочем, легко было всем: еще при жизни матери (которая, к слову, была порой с ней резка и далеко не всегда справедлива) она с готовностью помогала ей по дому, брала на себя ответственность, заботилась о родителях и о братьях-сестрах, родных и единокровных. Опекала и Вирджинию; опекала и допекала. В своем детском дневнике, толстой тетради в кожаном переплете с золотым обрезом, Вирджиния жаловалась, что Стелла, с которой она проводила большую часть дня вместе (братья – в школах, Ванесса – в художественном училище), упорно приучает ее к порядку.

Упорно, но безо всякого толку – нельзя же приучить к порядку стихию, Красотка же (а также Билли, Обезьянка или Козочка) с детства, как уже говорилось, отличалась крайним своеволием, могла ударить и даже укусить, не терпела противодействия, всегда добивалась своего.

«Была вздорна, вспыльчива, хитра, проказлива, – вспоминала Ванесса. – От гнева розовые щечки этого зеленоглазого ангелочка в бархатной курточке с гофрированным воротником мгновенно становились малиновыми».

Умела, впрочем, быть и паинькой.

«Крошка Джиния, – вспоминал сэр Лесли, души в младшей дочери не чаявший, – уже абсолютная кокетка. Сегодня я сказал ей, что мне надо идти работать, и она под села ко мне на диван, прижалась, подняла на меня свои зеленые глазки и шепнула: “Папа, не уходи”. Вот ведь мошенница!»

Была шаловлива, смешлива, – но и робка, труслива и очень, с самого детства, возбудима. Боялась темноты, требовала, чтобы ночью оставляли в детской свет; впрочем, пугал ее и огонь в камине. С возрастом, когда стала ходить одна, без взрослых, – боялась переходить улицу. Боялась, когда на нее смотрели, – краснела и отводила глаза; пуще же всего боялась, что над ней станут смеяться. При всей своей сообразительности заговорила – поздно; любила выдумывать новые, длинные и непонятные слова, чем приводила в восторг отца и его высоколобых друзей, в том числе и своего горячего поклонника, американского посла в Лондоне, поэта Джеймса Расселла Лоуэлла, подарившего ей пиалу для посета и птичку в клетке.

До школы детей учили дома, сначала – гувернантки, швейцарка и француженка, потом – сами родители; сэр Лесли обучал детей математике и рисованию, Джулия – латыни, истории и французскому. Сам сэр Лесли рисовал отменно, да и Джулия неплохо знала латынь и бойко говорила по-французски. А вот педагогическими способностями ни тот, ни другой похвалиться не могли. Обоим не хватало терпения и настойчивости, сэр Лесли легко выходил из себя и больше всего любил не учить детей, а читать им вслух – в особенности, подобно мистеру Хилбери из раннего романа Вирджинии «День и ночь», своего любимого Вальтера Скотта. Учили сестер также танцам, музыке, живописи и пению – наукам, без которых в то время устроиться в жизни – то есть удачно выйти замуж – было невозможно. Ванессе, у которой рано определились способности к живописи, с учителем, мистером Эбенезером Куком, повезло. Вирджинии же повезло меньше: учительница пения оказалась надутой религиозной ханжой вроде мисс Килман из «Миссис Дэллоуэй», и Вирджиния однажды поступила с ней довольно бесцеремонно: на невинный вопрос мисс Миллз, что такое Рождество, семилетняя девочка, давась от смеха, заявила, что на Рождество празднуют распятие Христа...

В доме сэра Лесли ежедневно, как по нотам, разыгрывалась викторианская комедия нравов, которую Вирджиния много позже назовет «школой викторианских гостиных и чайных церемоний». Воскресным утром всей семьей чистили столовое серебро. И отправлялись гулять в Кенсингтонский сад. В восьмидесятые годы позапрошлого века Кенсингтон, где жили Вулфы, мало напоминал центр города: среди живописных зеленых холмов и длинных рядов поса-

женных еще в xviii веке деревья петляли тенистые гравийные дорожки, где на каждом шагу встречались знакомые; атмосфера здесь царила по-сельски домашняя, как теперь бы сказали, «комфортная»: все всех знали – только успевай раскланиваться. У входа в парк, куда детям приходилось, чтобы не попасть под omnibus или под пустившуюся вскачь лошадь, бежать взапуски, неизменно стояла невзрачного вида старуха, продававшая – словно в компенсацию за только что грозившую опасность – вожделенные красные и лиловые воздушные шары; старуху и шары Вирджиния и Ванесса запомнили на всю жизнь.

В будни, в первую половину дня, у младшего поколения Стивенсов жизнь была несхожая – как теперь говорят, «по интересам».

«Мы были освобождены от гнета викторианского общества», – напишет Вирджиния в «Зарисовке прошлого»², несколько свою свободу от викторианского общества преувеличив.

Джордж, Джеральд, Тоби и Адриан, как и полагалось подросткам их социального положения, учились в закрытых частных школах: в Итоне (Джордж), в Клифтон-колледже (Тоби), в Вестминстере (Адриан), и большую часть времени дома отсутствовали. Старшая из сестер, Ванесса, натянув синюю блузу, отправлялась на красном автобусе или на велосипеде в художественную школу мистера Коупа, где готовилась поступать в Академию художеств. Или же рисовала с натуры под присмотром мэтров живописи Принсепа, Улесса либо даже самого Джона Сингера Сарджента. А по возвращении обрабатывала карандашные рисунки фиксатором. Вирджиния же читала «Республику» Платона, или разбирала партию греческого хора, или учила языки, а в перерывах между студиями прогуливалась в Кенсингтонском саду под далекий перезвон колоколов церкви Святой Маргариты.

Но с приходом вечера жизнь начиналась общая – строго регламентированная, светская, публичная. В половине восьмого следовало тщательно причесаться перед чиппендейловским зеркалом, а ровно в восемь – явиться в гостиную в вечернем платье с открытыми плечами и шеей – чисто вымытой. Одеваться следовало со вкусом, но скромно – не дай бог «перенарядиться». Светское общение сыновей и дочерей сэра Лесли сводилось в основном к тому, чтобы подавать гостям булочки на тарелках и спрашивать, что гости желают к чаю, – сливки, или сахар, или и то и другое. А также, что было куда сложнее (Вирджинии, во всяком случае), – улыбаться и помалкивать; вести светскую беседу, тем более высказывать *свое* мнение, категорически запрещалось. Вирджиния, конечно же, не раз это правило нарушала; однажды, к всеобщему ужасу, небрежным тоном поинтересовалась у сановной леди Карнаврон, читала ли та Платона.

Руководил светским воспитанием братьев и сестер сводный братец Джордж Дакуорт. Comme il faut с детства, он заботился о реноме семьи («как бы чего не сказали люди») и умело сочетал строгость, даже вездливость наставника хороших манер с не по-родственному пылким увлечением красотками Ванессой и Вирджинией, которым делал подарки, водил с собой на вечеринки, всячески развлекал и с которыми не раз позволял себе распускать руки. Обучаться у двадцатисемилетнего красавца-брата «науке страсти нежной» сестры, однако, упорно отказывались.

С возрастом юных Стивенсов ожидали приемы и пикники, а также посещения Национальной галереи, выезды на утренние концерты в Куинз-холл, в театр и в оперу вместе с Джорджем; домашний arbiter elegantiae перед выходом из дома с пристрастием инспектировал туалеты сводных братьев и сестер. А перед вагнеровским «Кольцом Нибелунгов» предстоял обед в «Савойе», про который Джордж твердил, что там будут «нужные люди»; они-то как раз интересовали Вирджинию меньше всего.

² Очерк «Зарисовка прошлого» здесь и далее цитируется в переводе Н.И.Рейнгольд. Вулф В. День и ночь / пер. с англ. Н.И.Рейнгольд. М.: Ладомир: Наука, 2014. С. 389–412.

«Запомнились слепящие огни, волнение и холод; я поднимаюсь по лестнице, свет бьет в глаза; мираж; восторг; паралич».

Больше же всего из этого времени запомнились посещения Музея восковых фигур мадам Тюссо, комические оперы Гилберта и Салливана в «Савойе» (но не в гостинице на Стрэнде, а в одноименном театре) и, конечно же, парад в честь Бриллиантового юбилея королевы Виктории, который юные Стивены наблюдали из окна больницы Святого Фомы.

Предстояло и еще одно, куда более ответственное испытание, – сезон балов. Длинные атласные вечерние платья, белые перчатки, белые бальные туфли, на шее нитка жемчуга или аметистовое кольцо, под ногами – на крыльце у входа в особняк, куда они приглашены танцевать, – расстелен огромный красный ковер, а на верхней ступеньке, согласно незыблемым правилам викторианского этикета, встречает гостей разряженная хозяйка дома. Бал никак нельзя было считать развлечением: то был экзамен на зрелость; от поведения на балу зависела твоя женская судьба: ждет тебя в жизни успех или провал. Танцевать же Ванесса, тем более Вирджиния, так толком и не выучились, уроки танцев впрок не пошли. И искусством обхождения и светской беседы, несмотря на все старания Джорджа, не овладели тоже. А потому сестры стояли в стороне, бессловесные и пунцовые от напряжения, и с нетерпением ждали, когда же кончится эта пытка и можно будет, наконец, поехать домой. И сестра за дневник:

«Мы часто говорим друг другу, что мы – неудачницы. В самом деле: мы не в состоянии блистать в обществе. Как этого добиться, я не знаю. Мы никого не интересуем, забьемся в угол и сидим, точно немые в ожидании похорон. А впрочем, в этой жизни есть вещи и поважнее...»

2

«Вещью поважнее» был дом сэра Лесли. Дом, казавшийся тесным из-за хаотичного семейного быта – «гротескного и комичного» (напишет в 1921 году в очерке «Старый Блумсбери» Вирджиния Вулф³). Из-за «всей той взбудораженной, накаленной атмосферы, которую создавала вокруг себя взъерошенная, любопытствующая молодежь». И не только молодежь.

«В моей семье, – говорится в дневнике Вирджинии (запись от 12 января 1915 года), – любая, самая ничтожная перемена в жизни вызывала всеобщую тревогу, влекла за собой бесконечные споры, обсуждения... Дом был заполнен горячими эмоциями молодежи – бунтовавшей, впадавшей в отчаяние, переживавшей головокружительное счастье и невероятную скуку на приемах знаменитостей и разных зануд...»

Заполнен эмоциями, книгами, людьми. Одних домочадцев за стол садилось не меньше двадцати человек. А после еды и стар и млад расходились по комнатам. У Ванессы была небольшая комнатка – за гостиной, окнами в сад, – где стоял ее мольберт. Когда она писала, Вирджиния имела обыкновение читать ей вслух Теккерея или Джордж Элиот; или же, подражая старшей сестре, рисовала сама – копировала Блейка или Данте Габриэля Россетти. Комната Вирджинии находилась на предпоследнем этаже: белые стены и голубые занавески, зеркало, умывальник, высокий письменный стол и узкая «девичья» кровать под окном. Кабинет же сэра Лесли располагался на самом верхнем этаже. Три высоких окна с видом на Кенсингтон, в воздухе стоит густой, сладковатый запах табака, по стенам высятся полки с книгами, книги то и дело с грохотом падают на пол, в углу собрана коллекция альпенштоков, а за массивным письменным столом, в кресле-качалке, с феской на голове и с вечным стальным пером в руке восседает, вальяжно откинувшись на спинку, хозяин дома.

Гостей бывало еще больше, чем домочадцев, гостей здесь любили, дом на Гайд-парк-гейт был открытым и чрезвычайно гостеприимным. Чуть ли не ежедневно приходили многочисленные коллеги и друзья сэра Лесли – видные историки, издатели, философы. Являлись «в силе и славе своей» известные политики, юристы, живые классики викторианской литературы и живописи: Роберт Луис Стивенсон, Томас Гарди, властитель «искусствоведческих дум», автор пятитомника «Современные художники» Джон Рёскин. Прозаик, автор нашумевшего «Эгоиста» Джордж Мередит, запомнившийся Вирджинии своим раскатистым голосом и тем, как залихватски кидает он в чай кружочки лимона. Поэт и литературный критик Джон Эддингтон Саймондс с нервным белым лицом и галстуком в виде шнурка с двумя желтыми плюшевыми шариками. Художники Эдвард Коли Бёрн-Джонс и Джордж Фредерик Уоттс, с аппетитом поедавший взбитые сливки. Бывали в доме и американцы: уже прославившийся прозаик Генри Джеймс, променявший Новую Англию на старую. У Вирджинии осталась в памяти его манера говорить: «качающаяся, уточняющая, жужжащая, мурлыкающая» – она эту его манеру со временем высмеет. А также уже упоминавшийся поэт-романтик, близкий друг слывшего американофилом сэра Лесли и крестный отец Вирджинии – Лоуэлл; у него, вспоминала Вирджиния, был длинный вязаный кошелек с вшитыми колечками, через которые проходил шестипенсовик. Между крестным отцом и крестной дочерью установились теплые, дружеские отношения. Первый образец обширного эпистолярного наследия будущей писательницы адресован ему:

«мой дорогой крестный отец, – пишет Лоуэллу шестилетняя Вирджиния, пренебрегая прописными буквами в начале предложения и

³ Очерк «Старый Блумсбери» здесь и далее цитируется в переводе Н.И.Рейнгольд. Вулф В. День и ночь / пер. с англ. Н.И.Рейнгольд. М.: Ладомир: Наука, 2014. С. 412–423.

знаками препинания, – побывал ли ты в Адирондакских горах видел ли диких зверей и птиц в гнездах ты плохой что не пришел сегодня до свидания любящая тебя вирджиния».

Перебывал на Гайд-парк-гейт и целый сонм родственников Джулии; у ее матери было шесть сестер, урожденных Пэтл, из династии английских колониальных чиновников в Индии со связями в артистических и литературных кругах Лондона.

Мария – четвертая из сестер Пэтл, бабка Вирджинии, – по устоявшейся семейной традиции вышла замуж за англо-индийца, процветающего врача из Калькутты Джексона. У своего индийского супруга миссис Джексон переняла любовь к медицине и повышенное внимание к своему шаткому здоровью, состоянием коего не уставала делиться с безотказной Джулией.

Одна из теток Джулии, Маргарет Кэмерон, уже в преклонном возрасте стала известным фотографом, – увлечение по тем временам несколько экзотическое. Получив в подарок фотоаппарат (или камеру, как ее тогда называли), фотографировала – прямо как сегодняшние туристы – всё и всех подряд. От слуг, которых с этой целью заставляла наряжаться в средневековые кафтаны и доспехи, до Теннисона и Гладстона, которых ставила под живописно раскидистое дерево, и – гласит семейная легенда – однажды, напрочь про них забыв, заставила великих людей не один час терпеливо дожидаться спасительной вспышки. Спустя много лет Вирджиния, уже известная писательница, сочинит о тетке Кэмерон единственную свою пьесу, «Фрешуотер», где роль Маргарет сыграет в домашнем спектакле Ванесса, а ее супруга – муж Вирджинии Леонард Вулф.

Другая тетка, Сара, впоследствии миссис Тоби Принсеп, владела некогда знаменитым особняком в Уэст-Энде Литтл-Холланд-хаус, где не раз собирались сливки викторианского общества: политики Гладстон и Дизраэли, писатели Теннисон и Теккерей, художники-прерафаэлиты.

И было что писать: в девичестве Джулия, самая любимая из трех дочерей Марии, была очень хорошенькой. Ее ангелоподобный лик запечатлевали Холман Хант и Бёрн-Джонс, не раз фиксировала на своих дагеротипах тетка Маргарет и воспевал после ее смерти безутешный сэр Лесли Стивен, говоривший про жену, что она так хороша, что сама этого не осознаёт.

Что же до необъятной библиотеки сэра Лесли – собрания книг по решительно всем областям знания, от античных комедиографов до современных политических трактатов, – то она была «отдана на откуп» сестрам, Вирджинии в первую очередь. Сёстры, как водилось в «домостроевские» викторианские времена, образование получали, в отличие от братьев, родных и сводных, домашнее; Вирджиния, которая всю жизнь считала себя «недоученной», называла его «ненастоящим»; Оксфорд и Кембридж был для сестер Стивен закрыт.

Вирджиния была вынуждена обучать себя сама. Она росла среди нескончаемых разговоров о литературе, живописи, музыке. И, пока старшая сестра под присмотром двоюродного дяди Вэла Принсепа рисовала с натуры, – читала запоем, причем, как правило, несколько книг одновременно.

«Как и многие неученые англичанки, я люблю читать всё подряд», – напишет она спустя много лет в эссе «Своя комната»⁴.

Были у одиннадцатилетней Вирджинии, однако, и свои фавориты: любила романы Вальтера Скотта и Джейн Остин (со временем напишет, и не раз, об обоих), дневники романистки и мемуаристки xviii века Фанни Бёрни, эссе Сэмюэля Джонсона, у которого – как критик – многому научилась. Увлекалась Диккенсом («Лавка древностей», «Повесть о двух городах»), Мильтоном, Шекспиром, Готорном, «Воспоминаниями» и «Французской революцией» Кар-

⁴ Эссе «Своя комната» здесь и далее цитируется в переводе Н.И.Рейнгольд.

лейля. А также совсем не детским автором, английским философом Джоном Стюартом Миллем, который привлек будущую феминистку своим трактатом «Подчинение женщин».

К слову сказать, феминистская тема всегда интересовала автора «Своей комнаты»: говоря о «недетском» чтении девочки-подростка, нельзя не назвать и трехтомник «Три поколения английских женщин»; проштудировав его, пятнадцатилетняя Вирджиния так вдохновилась этой темой, что взялась за перо сама: попробовала написать «Историю женщин». «Историю женщин» не написала, но неутешительный и вполне оправданный вывод сделала: женщина в викторианском обществе – человек второго сорта, ей всё запрещается: учиться в колледже нельзя, выражать свои чувства нельзя, говорить на «заповедные темы» (коих большинство) тоже нельзя. Так считал сэр Лесли, так считал образцовый викторианец Джордж, так считал покладистый, льнувший к авторитетам и не слишком задумывающийся о жизни Тоби, игравший в семье Стивенов роль эдакого Николая Ростова, не слишком далекого, простодушного, открытого – и всеми любимого.

С отцом Вирджиния занималась немецким, с помощью авторитетного и по сей день не устаревшего словаря древнегреческого языка Лидделла и Скотта штудировала древних: Гомера, трагедии Эсхила и Еврипида, Ксенофонта, Платона. Древним языкам жадную до знаний, развитую не по годам девочку учил сначала переводчик Эсхила Джордж Уорр, потом Клара Пейтер (сестра знаменитого эстета Уолтера Пейтера, автора «Исследований по истории Ренессанса» и «Марио Эпикурейца») и, наконец, ставшая ее близкой подругой выпускница Кембриджа Джанет Кейс.

Имелось у нее и хобби (чем только юные девицы Стивен не занимались!) – переплетное дело; им юная Вирджиния одно время очень увлекалась, словно знала наперед, что в жизни оно ей пригодится. А еще – это в девять-то лет! – Вирджиния вела дневник, который назвала «Вдохновенный подмастерье» (“A Passionate Apprentice”), а также в течение нескольких лет выпускала на пару со старшим братом еженедельную домашнюю газету «Новости Гайд-паркгейт», для которой вместе с другими детьми придумывала забавные рубрики вроде «Простолюдин обрабатывает землю» или «Опыты отца семейства». Теперь, когда читаешь эту газету, многие тексты Вирджинии воспринимаются своеобразной пробой пера, искусной стилизацией под журналистские опусы или расхожие, чувствительные романы; в ее возрасте девочки любят играть в переодевания – Вирджиния «переодевалась» в журналистов и романистов. Вот, например, как она – напыщенно, велеречиво, в духе душещипательного романа – описывает свое возвращение домой к брату после прогулки:

«Как же сладостно было вновь узреть его! Сидит, опустив голову, а глаза сверкают от радости! Сколь же выразительны наши глаза!»

Вот описание того, как младшие Стивены отпустили нагадившую на ковер бродячую собаку:

«И мальчик спустил ее с поводка на все четыре стороны. И она исчезла, словно капля воды, пустившаяся на поиски такой же, как она, капли в безбрежном океане. И больше о ней, об этой дворняжке, ничего и никогда слышно не было».

А вот пародия на светскую хронику:

«Мисс Миллисент Воган (кузина Вирджинии. – А.Л.) удостоила семью Стивенов своим присутствием. Как и полагается примерной родственнице, мисс Воган только что побывала в Канаде, где гостила у своей давно уже проживающей там сестры. Мы очень надеемся, что она, столь озадаченная матримониальными планами, сумела подавить в себе приступ зависти, находясь в доме сестры, столь удачно вышедшей замуж. Но мы отвлеклись

от нашей темы, как это не раз случается со старыми людьми. Мисс Воган прибыла к нам в понедельник и в доме 22 по Гайд-парк-гейт находится по сей день».

И еще одна – на любовный роман в письмах:

«Вы обманули меня самым бессовестным образом», – пишет мистер Джон Харли мисс Кларе Димсдейл. На что та резонно ему отвечает: “Поскольку я никогда не хранила Ваших писем, забрать их у меня Вы не можете. А потому вместо писем возвращаю Вам почтовые марки с конвертов”.

Для автора (авторов?) «Гайд-парк-гейт-нюс» не было заповедных тем. Вирджиния издевалась не только над литературными стилями, но и над своими близкими. Над родителями и родительскими чувствами:

«Как, должно быть, грустно матери лицезреть, что ее сыновья год от года становятся все старше и старше и, наконец, уходят из отчего дома, оставляя за стеной сладостный мир детства».

Или:

«Я люблю Вас с той пылкой страстью, с которой отец мой взирает на ростбиф. Вместе с тем отец любит ростбиф за его вкусовые качества, тогда как Вас я люблю за качества Ваши личные».

Над родительскими знакомыми:

«Прибыли сэр Фред Поллок и его дражайшая половина. Не станем, однако ж, говорить о них слишком пространно, поскольку пара эта не представляет ни малейшего интереса».

И даже над собой:

«За ужином мисс Вирджиния Вулф ни в чем себе не отказывала. Но, по всей вероятности, сама мисс Вирджиния была на этот счет другого мнения, ибо, не успев вернуться домой, съела еще один кусок торта».

Летом, когда семья переезжала из Лондона в Корнуолл – в Талланд-хаус с видом на залив Сент-Айвз, в дом, снятый сэром Лесли в 1881 году, незадолго до рождения Вирджинии и начала своей многолетней работы над «Словарем национальной биографии», – интеллектуальные увлечения сменялись физическими. И не только у детей, но и у взрослых: сэр Лесли, например, с раннего утра отправлялся в длинные пешие прогулки, проделывая порой по тридцать миль в день. (Во время одной из таких прогулок он, собственно, на Талланд-хаус и набрел. Набрел и полюбил этот дом с первого взгляда.)

«Детям здесь раздолье, – с энтузиазмом писал он жене, которая в это время была беременна Вирджинией. – Выбегут из дома – и сразу же окажутся на чудесном песчаном пляже. Будут дышать свежим воздухом и наслаждаться тишиной. Здесь так ясно, что берег в тридцати милях отсюда виден столь же отчетливо, как мы видим заднюю часть Куинз-гейт из окна нашей гостиной».

На морском берегу, сэр Лесли прав, детям было полное раздолье; они, можно сказать, расцветали после зимних бдений над книгами и учебниками. Надоедала, приедалась, впрочем, не только учеба. Талланд-хаус был весь пронизан светом, чего никак не скажешь о городском жилище Стивенсов: узкий шестиэтажный дом на Гайд-парк-гейт был мрачноват, не спасали даже обитая красным бархатом тяжелая мебель, выкрашенные малиновой краской двери

гостиной, бледно-голубые стены с портретами кисти Уоттса, по которым пробегали тени от свечей – электричества в доме не было.

Разве можно было сравнить летнее вольное озорство в Талланд-хаусе (где Стивенсы жили без малого пятнадцать лет, пока дети не выросли и перед их домом не возвели заслонявшую море сельскую гостиницу) с навевавшими скуку ежедневными чинными прогулками в Кенсингтонском саду? Или – тем более – с поездками «на поклон» к жившей в Брайтоне бабушке миссис Джексон? Не говоря уж о наскучивших уроках музыки:

«Этот день, 11 мая 1892 года, – читаем в очередном номере «Новостей Гайд-парк-гейт», – ознаменовался для младшего поколения Стивенсов двумя вещами. Во-первых, мороженым. А, во-вторых, сообщением о том, что мадам Мао, которая, к сведению наших читателей, обучает юных Стивенсов музыкальному искусству, будет приезжать дважды в неделю!!! Этот удар, впрочем, был смягчен следующим обстоятельством: в этом году Стивенсы едут в Сент-Айвз намного раньше обычного. Что вселяет вселенскую радость в души молодых людей, ибо Сент-Айвз они обожают и получают неизменное наслаждение от пребывания там».

Заметим в скобках, что ничуть не меньшее наслаждение от Сент-Айвз испытает спустя четверть века еще один представитель английского модернизма – Дэвид Герберт Лоуренс, живший с марта 1916 по октябрь 1917 года в Корнуолле, в нескольких милях от Сент-Айвз и назвавший эти места «землей обетованной» и «новыми небесами».

Весь год дети, и не только младшие, ждали той минуты, когда от платформы Паддингтонского вокзала в 10:15 утра отойдет корнуоллский экспресс «Паддингтон – Бристоль», и можно будет, смакуя шоколадку «Фрай» и листая любимый журнал «Лакомства», раздумывать о предстоящей жизни «на воле». Даже «книжный червь» Вирджиния – читаем в «Заметках о детстве Вирджинии», воспоминаниях старшей сестры о младшей, – отдавала в Сент-Айвз должное плаванию, катанию на лодке, возне с братом Тоби на лужайке перед домом и крикету, в котором, говорят, весьма преуспела. Вместе с другими детьми увлеченно ловила бабочек, устраивала пышные похороны птицам и полевым мышам, играла на бильярде, фотографировала, ловила рыбу, резвилась с большим косматым скайтерьером, на день рождения Тоби запускала фейерверки. И по вечерам, когда взрослые ужинали, вместе с братьями и сестрами, чья комната находилась аккуратно над кухней, опускала вниз на веревке пустую корзину – в тщетной надежде, что кухарка положит в нее что-то из недоеденного взрослыми. Лучшим способом избавиться от вечно голодных детей было веревку отрезать, к чему расторопная кухарка иной раз прибегала, вызывая громкий смех в столовой и возмущенные крики наверху в детской.

А еще любила слушать волны:

«Детская в Сент-Айвз, кровать за желтой шторой – ты лежишь, то ли спишь, то ли бодрствуешь – и слышишь, как волны набатом – раз-два, раз-два, а потом брызги дробью вдоль берега, и потом снова удар – раз-два, раз-два. Слышно, как ветер надувает желтую штору, и та колышется, таща за собой по полу небольшое грузило в виде желудя. Невообразимый, чистейший восторг: лежать, слушать волну, видеть свет, знать про себя, что это почти невероятно – быть здесь»⁵.

Или, перед сном, – рассказывать Нессе, сидевшей в обнимку с мартышкой Жако, выдуманные истории про семейство Дилков, соседей Стивенсов по Гайд-парк-гейт, и про их хитроумную гувернантку мисс Розальбу.

⁵ «Зарисовка прошлого».

Или – пускать кораблики в пруду. Вирджиния потом вспоминала, каким значительным событием стало для нее то, что ее корнуоллский парусник, благополучно доплыв до середины пруда, внезапно, у нее на глазах, перевернулся и камнем пошел под воду... Больше же всего ей нравилось наблюдать за проходящими на горизонте кораблями и светившимся вдалеке маяком Годреви.

«Воскресным утром, – читаем в «Новостях Гайд-парк-гейт» от 12 сентября 1892 года, – мистер Хилари Хант и мистер Бейзил Смит пришли в Талланд-хаус и позвали мистера Тоби и мисс Вирджинию Стивен сопровождать их на маяк, ибо лодочник Фримен сказал, что дует отличный попутный ветер. Что же до мистера Адриана Стивена, то он был крайне разочарован тем, что ехать ему не разрешили».

А спустя тридцать пять лет про тот же маяк Годреви Вирджиния Вулф напишет совсем иначе:

«Маяк тогда был серебристой смутной башней с желтым глазом, который внезапно и нежно открывался по вечерам»⁶.

Тогда? Когда еще была жива миссис Рэмзи – свою героиню Вирджиния Вулф писала с покойной матери.

⁶ Роман «На маяк» здесь и далее цитируется в переводе Е.Суриц.

Глава вторая

Гайд-парк-гейт 22: Горести

1

Джулия Дакуорт-Стивен, как и миссис Рэмзи, ушла из жизни рано, почти на десять лет раньше мужа, и ее смерть знаменовала собой конец светлой, безмятежной полосы в жизни Стивенов. Джулия была центром семьи (и вселенной), ее все – и муж, и дети, и прислуга – любили, от нее все зависели, на нее все полагались. Ради «терпимости и любви в доме, ради того, чтобы все в доме ощущали себя в безопасности»⁷, Джулия, как и мать Клариссы Дэллоуэй из самого известного романа Вирджинии, была готова на всё. И ее смерть нанесла Стивенам тяжкий удар – главе семьи в первую очередь.

С терпимостью и любовью в доме Стивенов было покончено. Сэр Лесли, как это часто бывает с далекими от жизни, витающими в эмпиреях мудрецами, «туманно-эфирными символистами»⁸, был выбит из колеи, потерял опору существования – еще бы: Джулия жила главным образом ради своего мужа. Лишился, если так можно выразиться, доверия к жизни; после смерти жены писал в рассчитанной на своих детей «Книге памяти», в буквальном переводе – в «Мавзолеейной книге» (“Mausoleum Book”), что «инстинктивному знанию жены можно было доверять гораздо больше, чем моим рационалистическим рассуждениям».

Рационалистом, впрочем, сэр Стивен был разве что на бумаге, но никак не в жизни. С ним, человеком вспыльчивым, деспотичным, требовательным, и в то же время нерешительным и во всем сомневающимся, всегда было непросто. Он и в молодые-то годы был нервным, замкнутым, чувствительным, «маменькиным сынком» (не в пример своему старшему брату, судье и журналисту, баронету Джеймсу Фитцджеральду, прозванному в Кембридже «британским львом» – за бурный нрав и готовность в пылу спора пустить в ход кулаки). Он и при жизни заботливой жены, случалось, перетрудившись, терял вдруг сознание; а также страдал бессонницей, и, когда наконец засыпал, внезапно пробуждался от «приступов ужаса», как он именовал свои ночные кошмары.

Теперь же, в свои шестьдесят три года, сэр Лесли в одночасье превратился в капризного, взбалмошного, всем и всеми недовольного, дряхлого, глухого старика. Очень напоминающего «сварливого, шаркающего старикана» Джастина Парри, отца Клариссы Дэллоуэй. Трудоголик от природы, он почти совсем перестает работать и к себе в кабинет поднимается теперь крайне редко. При этом, верный давним домашним обычаям, читает, хрипя и задыхаясь, уже выросшим детям вслух. Вслух и с выражением. Читает – в который уж раз – своего любимого Милтона: «Оду в день Рождества Христова». И, когда ему кажется, что дочери слушают недостаточно внимательно, впадает в неистовую злобу и чтение прерывает.

Читает вслух и пишет письма – чаще всего старшему сыну в Кембридж. От Тоби в это время он очень зависит – и психологически, и эмоционально. Вот последние несколько фраз одной из таких записок, где старик, по обыкновению, жалуется сыну на жизнь и клянется в неизменной отеческой любви:

«Пиши мне завтра же, дорогой... Не могу передать, как я дорожу тобой, как тревожусь за тебя, почти так же, как твоя незабвенная мать... На

⁷ Роман «Миссис Дэллоуэй» здесь и далее цитируется в переводе Е.Суриц.

⁸ Так называл подобных ученых мужей герой «Улисса» Леопольд Блум.

прошлой неделе от тебя не было ни строчки! Прощай же, твой любящий, но, увы, слабый, очень слабый отец».

Часами сидит молча, погруженный в тоску, или же скрипит от ярости зубами, стенает, рыдает, зовет смерть. Его стенания раздаются по всему дому; однажды вечером домочадцы услышали, как старик, с трудом взбираясь по лестнице к себе в спальню, громко сетует – нет, не о потере жены, своем одиночестве и болезнях, а о том, что у него перестала расти борода: «Ну почему, почему у меня не растет борода?!» Всем недоволен, на всё жалуется и всего боится. Боится – по крайней мере, на словах – нищеты, ему и его детям, конечно же, не грозившей: после смерти он оставит 15000 фунтов – сумма по тем временам огромная. Беспокоится по любому поводу, беспокоится и экономит. (Как тут не вспомнить Плюшкина: «...стал беспокойнее и, как все вдовцы, подозрительнее и скупее».)

И считает – и не без оснований, – что исписался. Что его все забыли. Те же немногие, кто его еще помнил, старались навещать сэра Лесли пореже: ему ничего не стоило, к примеру, в присутствии посетителя задаться не слишком вежливым вопросом: «И когда же он, наконец, уйдет?» или же свистящим шепотом заявить напрямую излишне разговорчивому собеседнику: «Какой же вы все-таки зануда, голубчик!»

Требует от домочадцев покорности, вымещает на них свое раздражение, особенно на неполноценной Лауре, с которой, когда она ненадолго возвращалась из приюта домой, бывал особенно груб и даже давал волю рукам.

Вирджиния вспоминала, как отец говорил Ванессе: «Если я грущу, и ты должна грустить; если сержусь, тебе следует рыдать».

Устраивает скандалы, изводит детей истериками и жалобами на жизнь, на свою незавидную судьбу «несчастливого, обездоленного вдовца». И дочерей изводит в первую очередь; с ними, как типичному викторианцу и полагается, он не церемонится. Мужчины – другое дело: с сыновьями, а также с немногими оставшимися друзьями и знакомыми он по-прежнему держится в рамках, неизменно вежлив и кроток.

Больше же всего доставалось от него Стелле. Она безропотно заняла в семье место покойной матери, взвалила на себя тяжкий груз забот по дому, по уходу за сводными братьями и сестрами, прежде всего за Вирджинией и Адрианом, которого надо было утром возить в школу, а днем забирать домой. К строптивому, обессилившему отчиму относилась как к родному отцу. Даже выйдя замуж за подающего надежды юриста и будущего политика Джона Уоллера Хиллза – которому, к слову, дважды, прежде чем дать согласие, отказывала, не желая покидать осиротевших Стивенсов, – она поселилась с мужем по соседству и продолжала заботиться о сэре Лесли. Утешала его, все вечера просиживала с ним в кабинете, прилежно выслушивала его угрызения совести («Она умерла из-за меня!»), ламентации («Мое счастье теперь мало кого интересует» – прозрачный намек на то, что Стелла поспешила выйти замуж), обустроивала его быт. По первому сигналу бросалась к нему помочь со слуховой трубкой, подставляла стул, когда старик садился к столу, помогала спуститься с лестницы, подсаживала в наемный экипаж, поддерживала разговор, расспрашивала о здоровье, которое большей частью было «ни к черту». И, пережив мать всего на два года, в июле 1897-го, спустя три месяца после свадьбы, попала в больницу с перитонитом и умерла беременной на операционном столе, чем, понятно, еще больше осложнила ситуацию в семье.

«Вскоре после смерти Стеллы, – вспоминает Вирджиния Вулф в «Зарисовке прошлого», – наша жизнь превратилась в борьбу за собственное жизненное пространство. Мы все время что-то отвоевывали: свободу от чужого вмешательства, открытое обсуждение вопросов, равные права».

Уточним: под «чужим вмешательством» имелось в виду, конечно же, вмешательство сэра Лесли.

«Главным камнем преткновения мы считали отца».

Обязанности Стеллы перешли теперь к Ванессе. И их отношения с отцом в оставшиеся семь лет его жизни (сэр Лесли умрет от рака в 1904 году) с каждым днем становились всё хуже, напряженнее. В отличие от покойной Стеллы – мягкой, податливой, кроткой, – Ванесса, девушка с сильным характером, к тому же упрямая и злопамятная, не шла на поводу у самодура-отца, по любому поводу впадавшего в тревогу, которая, как правило, сопровождалась неконтролируемыми вспышками гнева, даже бешенства. В этих вспышках, вспоминала Вирджиния, «прорывалась какая-то злоедающая, слепая, животная, первобытная сила».

«Он не ведал, что творил, – продолжает она. – Объяснения не помогли. Он страдал. Страдали мы. О взаимопонимании не было и речи. Ванесса держала глухую оборону. Он бесился... Главная буря обычно разражалась в среду. В этот день отцу показывали бухгалтерскую книгу, где были отмечены семейные расходы за неделю. Если они превышали одиннадцать фунтов, ленч превращался в пытку. Как сейчас помню, кладут перед ним отчет: стоит гробовая тишина, он надевает очки, пробегает глазами цифры – и как стукнет кулаком по столу! Как зарычит! Лицо багровое, вена на виске дергается. Бьет себя в грудь, ревет: “Вы меня разорили!” В общем, целый спектакль, рассчитанный на то, что зрители проникнутся жалостью к несчастному, отчаявшемуся родителю. Он разорен, он при смерти... Ванесса и Софи доконали его своей бездумной расточительностью. “Стоишь как истукан! Разве тебе меня не жалко? Хоть бы слово отцу сказала!” и всё в том же духе. Ванесса стоит, не проронив ни слова. Как он ее только не пугает – в Ниагару бросится, и прочее. Она все молчит. Тогда в ход идет другая тактика. Тяжело вздохнув, он тянется дрожащей рукой к перу, берет ручку трясущимися пальцами и выписывает чек. Не глядя, усталым жестом бросает его Ванессе. Гроссбух и ручку уносят под аккомпанемент стенаний и вздохов. Он опускается в кресло и замирает, опустив голову на грудь. Спустя какое-то время замечает книгу, поднимает глаза и говорит жалобно: “Джиния, ты не занята? Ты мне не считаешь?” Внутри у меня всё кипит, а сказать ничего не могу – в жизни не испытывала подобной фрустрации»⁹.

«Джиния» не скрывает своего раздражения, «фрустрации», как она выражается. Она убеждена, что отец ведет себя непростительно.

«Мы были ему не детьми, а внуками, – напишет она в автобиографической книге «Моменты бытия». – Даже сейчас, спустя столько лет, мне нечего сказать в его оправдание: он вел себя жестоко. С таким же успехом он мог бы пустить в дело кнут вместо слов».

И всё же Вирджиния, в отличие от сестры, которая решительно отказывалась играть двойную роль рабыни и ангела-утешительницы, до самого конца сохранила с отцом, насколько это было в ее силах, сносные отношения. Спустя годы она напишет, что испытывала к отцу «безмерную нежность и столь же неистовую ненависть». Жалела его, старалась не замечать его слабостей, утешала себя тем, что сэр Лесли и сам до конца не осознает, какой он деспот:

«Скажи ему кто-нибудь прямо: “Вы – тиран! Перестаньте третировать девушку!” – и он пришел бы в ужас».

⁹ «Зарисовка прошлого».

Как и ее героиня Кларисса Дэллоуэй, была с отцом заботлива, прощала ему скандалы, постоянные нравоучения и бурные всплески эмоций. И служила своеобразным громоотводом в конфликтах между сэром Лесли и старшей сестрой, не раз вставала на сторону отца, да и тот, в свою очередь, испытывал к Джинии особую нежность.

«Джиния, – писал он в «Книге памяти», – по-прежнему добра ко мне, она – мое утешение... Умеет быть совершенно обворожительной».

«Каждая женщина гордится отцом», – заметил Питер Уолш, друг детства и воздыхатель Клариссы Дэллоуэй. Вот и Вирджиния гордилась сэром Лесли. И как видным критиком, литературоведом, специалистом по xviii веку – это благодаря сэру Стивену, истинному просветителю, автору знаменитой книги «Английская литература и общество в xviii веке», она на всю жизнь полюбит эпоху Просвещения, Свифта, Дефо, доктора Джонсона, Стерна. И как редактором весьма авторитетного *Cornhill Magazine*, участвовавшим в становлении крупных писателей конца викторианской эры: Гарди, Стивенсона, Генри Джеймса. Она постоянно – и после смерти сэра Лесли тоже – перечитывает его книги, многое помнит чуть ли не наизусть. В эссе «Лесли Стивен: философ в домашней обстановке. Воспоминания дочери» отдает отцу должное, пишет, сколь многим, в первую очередь культурным кругозором, она отцу обязана.

«С удовольствием просматривала книгу отца про Поупа, – читаем в ее дневнике от 25 января 1915 года. – Очень остроумно, живо, ни одной мертвой фразы».

Есть, однако, и такая, гораздо более поздняя, дневниковая запись (Вирджинии Вулф в это время уже сорок шесть):

«День рождения отца. Сегодня ему бы исполнилось девяносто шесть... Но, слава богу, этого не произошло. Его жизнь перечеркнула бы мою. И что бы было? Я бы ничего не написала, не выпустила ни одной книги. Непостижимо! Не проходило и дня, чтобы я не думала о нем и о матери...»

О матери – особенно. Вирджинии (когда Джулия умерла, ей было тринадцать) мать запомнилась красивой, серьезной, молчаливой, большей частью погруженной в себя и в свои хлопоты – весь дом на ней! Не оттого ли всегда усталой и печальной? Запомнилась внятными, громким голосом, быстрой, деловой походкой, пронзительным взглядом, непринужденными манерами. А еще заливистым, заразительным смехом (Вирджиния, говорят, смеялась точно так же) и привычкой нервно потирать руки.

«Образ матери преследовал меня как наваждение. Я слышала ее голос, она мерещилась мне, я мысленно разговаривала с ней между делом, представляя, как она поступила бы в том или другом случае. Словом, она была для меня одним из тех невидимых собеседников, присутствие которых в жизни каждого человека играет огромную роль»¹⁰.

¹⁰ «Зарисовка прошлого».

2

Ее смерть явилась для Вирджинии «величайшей катастрофой, какая только могла произойти». И привела к тяжелому нервному срыву – первому в череде многих. Эти приступы, или срывы, или, как их еще называют, психические кризисы, и сильные и слабые, протекали примерно одинаково. Сперва – учащенный пульс, так, словно Вирджиния чем-то очень взволнована, повышенная температура, сильное возбуждение. Потом – то, что она впоследствии назовет «эти ужасные голоса»: они будут долго и неустанно звучать у нее в ушах. Одновременно с этим – страх людей; он был и в детстве, о чем мы уже писали, теперь же Вирджиния испытывала ужас, встречаясь даже с хорошими знакомыми, густо краснела, если с ней заговаривали, не могла себя заставить посмотреть в глаза собеседнику. И страх улицы: она никак не может забыть, как на ее глазах под омнибус попала девочка на велосипеде, а ведь произошло это несколько лет назад. Эти страхи сменялись подавленностью и непреходящим, мучительным чувством вины.

После смерти отца – а умирал сэр Лесли долго и мучительно – приступ повторился, но был намного сильнее и длительнее, чем за девять лет до этого. Со смертью отца Вирджиния еще раз пережила смерть матери – и эти две невосполнимые потери соединились, слились в ее сознании, усилили одна другую, заставили ее по многу раз мысленно возвращаться в свое безмятежно счастливое детство. Вот что она запишет в дневнике много позже, за два с половиной месяца до собственной смерти:

«До чего же красивыми были мои старики – я говорю о папе и маме, – до чего простыми, до чего чистыми, до чего прямыми. Я погрузилась в старые письма и отцовские воспоминания. Он любил ее: ох, каким же он был искренним и разумным. У него был утонченный и изысканный ум, ясный, здравый ум образованного человека. Их жизнь встает передо мной спокойной и веселой; никакой грязи, никаких омутков. И так человечно – с детьми, и легким притворством, и детскими песенками»¹¹.

Второй приступ начался, как и первый, с сильного возбуждения, сопровождавшегося и на этот раз страхами, чувством одиночества, мучительными головными болями, а также видениями и тяжкими, как и после смерти матери, угрызениями совести: отец умер из-за меня, это я явилась причиной его смерти. Я не жалела его, не говорила ему, как люблю его и высоко ставлю:

«Самое ужасное, – записывает она в дневнике, – что все эти годы я никогда не заботилась о нем так, как должно. Он часто бывал очень одинок, и я ни разу не пришла ему на помощь, а ведь могла бы. И от этого мне теперь так плохо. Останься он в живых, мы могли бы быть такими счастливыми. Но чего нет, того нет... У меня странное чувство, будто живу с ним каждый день».

Порой ей казалось, что она слышит его голос. Снилось, что отец жив, что, возвратившись домой с прогулки, она застаёт его дома, он такой же добрый, отзывчивый и умный, каким был в прошлом. Умный и блестящий. Ведь не всегда же сэр Лесли был вздорным, немощным стариком; было время, когда он смотрелся щеголем, выходил в свет, был общителен, даже галантен. Знал себе цену и в то же время мог в минуту откровенности признаться дочерям (вполне воз-

¹¹ Вулф В. Дневник писательницы / пер. с англ. Л.И.Володарской. М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2009. С. 395. Запись от 22 декабря 1940 г.

можно, впрочем, слегка кокетничая), что «мозги у меня хорошие, крепкие, но второго класса», или что в истории английской мысли XIX века он если и останется, то разве что в сносках...

Вирджинии не помогали ни лекарства, ни «перемена мест»; весной 1904 года, через три месяца после смерти отца, Стивены всем семейством отправились в Италию, где Вирджиния раньше никогда не была. Но не помогла и Италия: Ванесса наслаждалась картинными галереями Венеции и Флоренции, а Вирджиния досадовала, что поехала, ее всё раздражало:

«Слишком много немцев, вокруг гостиницы толпятся какие-то странные гномы в женском облике, похожие на дьявольские существа, выступающие из мрака на свет. Да и гостиница чем-то напоминает черную пещеру... Наше путешествие оказалось совсем не таким лучезарным, каким мы его себе представляли. Не было еще на свете нации более отвратительной, отвратительны и их железные дороги, и улицы, и магазины, и нищие, и их обычаи», – пишет она 25 апреля 1904 года.

«Виноваты», конечно же, были не немцы, которых «слишком много», и не «отвратительные» итальянцы, а тоска по дому, по умершему отцу.

«О моя Вайолет, – писала подруге из Италии Вирджиния. – Мне так не хватает отца!»

На обратном пути произошло ухудшение. По возвращении в Англию к Вирджинии были приставлены сразу три медсестры, и все три представлялись ей воплощением вселенского зла; Вирджиния яростно сопротивлялась всем попыткам ее накормить – как бы не отравили. Когда же ее почти силой отвезли за город, она однажды попыталась выброситься из окна; суицидальными намерениями сопровождалась и все последующие приступы. Вирджиния целые дни проводит в постели, и ей мнится, вспоминала она впоследствии, будто птицы за окном щебечут хором по-древнегречески, а в кустах, среди азалий, спрятался и сквернословит король Эдуард VII.

Помимо медсестер, за больной ухаживала приятельница семейства Дакуортов, тридцатилетняя Вайолет Дикинсон – та самая Вайолет, кому Вирджиния писала из Италии слезные письма. Высокая, некрасивая, всегда неряшливо одетая, но добросердечная, веселая и энергичная старая дева, про которую шутили, что у нее много незаконнорожденных детей и один, но воображаемый муж. Сэр же Лесли шутил (когда еще шутил), что ее единственный недостаток – шесть футов роста.

Вайолет перевезла Вирджинию к себе в Бернам-Вуд – и больная, которая провела в доме Вайолет все лето, ни на минуту ее от себя не отпускала, вела с ней доверительные беседы, что никак не вязалось с присущими ей сдержанностью и замкнутостью. Знакомы, впрочем, они были давно, и Вирджиния еще тогда, в первые дни знакомства, отдала должное этой нелепой, громоподобно смеющейся «каланче», как ее за глаза называли:

«Несмотря на свой огромный рост и довольно комическую внешность, в ней было несомненное достоинство... Она болтала не переставая, хохотала и с юношеским пылом вступала в любой разговор. По достоинству оценить ее нрав удавалось далеко не сразу, лишь со временем становилось понятно, что у этой веселой, оживленной, суматошной женщины случаются минуты подавленности, что она умеет быть сдержанной, погруженной в себя. И вместе с тем она всегда готова посмеяться вместе с вами – и в этом ее обаяние...»

А вот еще один портрет Вайолет; они с Вирджинией дружат уже многие годы, а отношение к ней писательницы – столь же ласково-ироничное, отношение же Вайолет к Вирджинии, часто болевшей и впоследствии, – столь же трогательно-заботливое:

«Невозможно не услышать ее джазовый распев, когда она, входя в холл, заговаривает с Лотти: “Где мое повидло? Как миссис Вулф? Ей лучше? Где она?” Одновременно она снимает пальто, отдает зонтик и не слушает ответов. Потом является ко мне в комнату, невероятно высокая, в сшитом на заказ костюме, с перламутровым дельфином на черной ленте... Погрузневшая, с выпуклыми голубыми глазами на белом лице и как будто отбитым кончиком носа. И с маленькими прелестными аристократическими ручками»¹².

Подобное «однополое» увлечение (причем женщинами, как правило, значительно старше себя) было у Вирджинии не первым. За несколько лет до этого она, тогда еще совершенно здоровая, неожиданно увлеклась Мэдж Саймондс, по мужу – Воган, дочь уже упоминавшегося критика Джона Эддингтона Саймондса. Насколько сильным было это увлечение, страстное и при этом совершенно невинное, мы видим по ее письмам, а также по дневнику, которому, как и все шестнадцатилетние девицы, Вирджиния поверяла свои душевные радости и горести.

«Я была у себя наверху, и вдруг почувствовала, как забилося у меня сердце, забилося, а потом замерло, я изо всех сил стиснула ручку кувшина, который держала в руке, и воскликнула: “Мэдж здесь, она сейчас у нас!”»

В Мэдж, «любимом лягушонке», как Вирджиния ее называла, она нашла родственную душу: романтическая внешность, меланхолия, непосредственность, любовь к живописи и литературе; впоследствии она выведет подругу (придав ей кое-какие карикатурные черты, о чем еще будет сказано) в образе Салли Сетон в «Миссис Дэллоуэй».

Как и Салли – Клариссу, Мэдж подкупала Вирджинию смелостью и бесшабашностью. А еще – независимостью, совершенным безразличием к окружающим, «будто она что угодно может сказать, что угодно выкинуть». А еще – цельностью, благородством, «совершенно бескорыстным чувством, – напишет позже Вирджиния, – которое может связывать только женщин». «Только женщин»: нетрадиционные «однополые предпочтения», как видим, у нее уже намечаются.

Они переписывались, а когда встречались – болтали ночи напролет, говорили о жизни, о том, как они переделают мир. Мэдж поселила Вирджинию, поправлявшуюся после нервного срыва, у себя в доме при Гиггсуикской школе, где ее муж Уилл Воган был директором. Давала Вирджинии читать Уильяма Морриса, подруги собирались основать общество по борьбе с частной собственностью, бороться за права женщин. Однако время развело прообраз и литературный образ: в отличие от своего прототипа, Салли Сетон с возрастом перебесится, выйдет замуж за богача, а не за скромного директора школы, и поселится в роскошном особняке под Манчестером, а не в скромной квартире при школе...

Выздоровление, хотя и не полное, наступило только осенью. Вирджинию еще мучили головные боли и кошмарные сны, но ей хотелось поскорей снова сесть за письменный стол, доказать всем, в том числе и самой себе, что «со мной всё в порядке, хотя уже тогда появился страх, что это не совсем так».

Да и мысли о покойном отце уже не были столь мучительны.

«О, моя Вайолет, – писала она в это время своей подруге и сиделке. – Если бы на свете был Бог, я бы поблагодарила Его за то, что он спас меня от страданий последних шести месяцев! Вы не можете вообразить, какую несказанную радость доставляет мне ныне каждая минута моей жизни, и я молюсь только о том, чтобы дожить до семидесяти. Очень надеюсь, что я

¹² «Дневник писательницы». С. 76–77. 16 февраля 1922 г.

вышла из болезни не такой самонадеянной и самолюбивой, какой была раньше, и что теперь чаяния других людей станут мне ближе и понятнее. Печаль, которую я испытываю сейчас в отношении отца, немного утихла, стала естественней, и жить теперь опять хочется, хотя жизнь и стала более тоскливой. Не могу передать Вам, чем Вы были для меня все это время, и если любовь хоть чего-то стоит, любить Вас я буду всегда».

Оправившись после болезни, Вирджиния в январе 1905 года вернулась в Лондон. Но не в родительский дом на Гайд-парк-гейт 22, где Стивены больше не жили, а в Блумсбери, куда братья и сестра, отправив совсем еще слабую Вирджинию в Кембридж, к тетке, сестре отца Кэролин-Эмили, двумя месяцами раньше переехали – подальше от грустных воспоминаний. По возвращении Вирджиния чувствовала себя много лучше, хотя о полном выздоровлении еще не могло быть речи, что хорошо видно из письма Ванессы Мэдж Воган:

«Сейчас она вполне здорова, вот только спит неважно. Здорова и очень активна. Много гуляет, но уходит далеко и надолго ей нельзя. Утром, прежде чем сесть за письменный стол, она в течение получаса гуляет одна, а потом выходит еще раз, и тоже на полчаса, перед обедом. Во второй же половине дня одна она из дому не выходит, кто-то обязательно должен ее сопровождать... Спать она ложится очень рано, в остальном же ничем от нас не отличается».

Отличается, и очень. Слабое здоровье будет у нее всю жизнь, и страдать она будет не только от психических недугов, но и от телесных. Из хронологии жизни Вирджинии Вулф, дотошно составленной автором ее двухтомной биографии Квентином Беллом¹³ – «по совместительству» ее племянником, сыном Ванессы, – следует, что не проходило и месяца, чтобы Вирджиния не слегла с головной болью, или не жаловалась на сердце, или не заболела тяжелым гриппом. Или же просто очень плохо себя чувствовала – настолько, что врачи, боясь рецидива психического срыва, предписывали ей долгий постельный режим, и она месяцами не садилась за рукописи и даже за свой любимый дневник, компенсируя отсутствие работы запойным чтением.

...Переехали Стивены гораздо дальше, чем им казалось. Перебравшись в Блумсбери, они, по существу, переселились из викторианской эпохи в эдвардианскую, – Вирджиния осознает это много позже:

«Когда мы с Ванессой стояли перед отцом, а он метал в нас громы, и мы, дрожа от страха, понимали, как он смешон, – это значило одно: мы смотрели на него глазами людей, которые видят что-то иное на горизонте. Видят то, о чем сегодня знает каждый юноша и каждая девушка в свои шестнадцать или восемнадцать лет. Злая ирония состояла в том, что наши мечты о будущем находились в полном подчинении у прошлого... По натуре мы с Ванессой – искательницы, революционерки, реформаторы, а мир, в котором мы жили, отставал от века по меньшей мере лет на пятьдесят...»¹⁴

Осенью 1904 года у младшего поколения Стивенсов начиналась новая, независимая, самостоятельная жизнь. Теперь их мечты не находились «в подчинении у прошлого». Они больше не отставали от века – они опережали его.

¹³ Bell, *Quentin*. Virginia Woolf. A Biography. London, The Hogarth Press, 1972 (1st volume); 1976 (2nd volume).

¹⁴ «Зарисовка прошлого».

Глава третья

Гордон-сквер 46

Дом, куда в октябре 1904 года переехали Стивенсы, Вирджинии, оказавшейся в нем лишь два с половиной месяца спустя, показался поначалу холодным, мрачным, неудобным. Постепенно, однако, как это обычно бывает, она ощутила и преимущества нового места жительства. Верно, в Блумсбери было гораздо больше шума, чем в «сельском» Кенсингтоне, зато было проведено электричество, да и места в доме на Гордон-сквер было куда больше. У Вирджинии была теперь своя большая комната на самом верху, «необычайно чистая и пустая», где она, переехав, целыми днями раскладывала книги, передвигала мебель, вставила в рамки и повесила на стену рукописи отца, а также письмо ему от Джордж Элиот и стихотворение Лоуэлла. В холле сёстры развесили портреты родителей кисти Уоттса, фотографии Теннисона, Мередита, Браунинга, которых снимала Маргарет Кэмерон.

Вирджиния обустроивала свое жилье и «осваивала территорию» – «исхаживала улицы» (“haunted streets”), как она это называла. Едва ли кто из известных английских писателей исходил Лондон так, как Вирджиния, – и в этом смысле она тоже дочь своего отца. «Больше всего на свете люблю смотреть по сторонам», – неизменно повторяла она. Смотреть по сторонам и размышлять – в городе это ей удавалось лучше, чем в сельской тиши.

«По сумрачным улицам Холборна и Блумсбери, – напишет она в дневнике лет десять спустя, – могу бродить часами. Везде смятение, разор, беготня... Только на оживленных улицах могу предаваться тому, что принято называть “мыслительным процессом”»¹⁵.

Блумсбери в те годы никак нельзя было назвать лучшим местом в Лондоне, а Гордон-сквер 46 – лучшим местом в Блумсбери: Фицрой-сквер смотрелся элегантнее, Рассел-сквер, Мекленбург-сквер и Бедфорд-сквер – уютнее. И всё же Стивенсы сразу полюбили свой новый дом: у него, помимо отсутствия «скелетов в шкафу», было немало преимуществ, которые Вирджиния Вулф в «Старом Блумсбери» подробно описывает и для которых находит, как всегда, точные и в то же время неожиданные, поэтические образы:

«В конце 1904 года мне казалось, что лучшего, более прекрасного, более романтического места не сыскать в целом свете. Начнем с потрясающей перемены: ты стоишь у окна гостиной и перед тобой деревья; у одного ветви заброшены вверх, а листья падают дождем вниз; у другого кора отливает после дождя, как шкура морского котика... После густого плюшевого сумрака Гайд-парк-гейт новое место поражало воздухом и светом. Предметы, которые ты никогда до этого толком не видел – картины Уоттса, голландское бюро, голубой фарфор, – впервые заиграли в гостиной на Гордон-сквер».

Имелись на новом месте преимущества и чисто практического свойства: помимо своих комнат у Ванессы и Вирджинии имелась также огромная гостиная, а на первом этаже еще и кабинет, предназначенный для обеих сестер, что для английской женщины конца викторианской эпохи считалось невиданной роскошью:

«Духовная свобода зависит от материальных вещей. Поэзия зависит от духовной свободы. Женщины же были нищими не только два последних

¹⁵ Из дневников. Запись от 6 января 1915 года.

столетия, а испокон веков. Они не имели даже той духовной свободы, какая была у сыновей афинских рабов. То есть у женщин не было никаких шансов стать поэтами. Почему я и придаю такой вес деньгам и своей комнате»¹⁶.

К практическим преимуществам можно отнести и дешевизну дома (относительную, естественно) – Блумсбери в те времена еще не котировался, не то что теперь, – а также его близость к художественному училищу Слейд-скул, которое Ванесса регулярно посещала.

Не обошлось, разумеется, и без недостатков. «Ватная» тишина на Гайд-парк-гейт сменилась несмолкаемым грохотом транспорта.

Дом на Гордон-сквер был отделан заново, это добавляло свежести. От красно-плюшевого и черного с золотом интерьера в духе Уоттса и венецианцев не осталось и следа: теперь вместо обоев Уильяма Морриса с витиеватым рисунком были чистые, выкрашенные темперой стены. Новому поколению требовались воздух, простота и свет – и всего этого на Гордон-сквер 46 было в достатке.

Новый дом означал новую жизнь.

«Мы встали на путь экспериментов и реформ, – цитирует Вирджинию ее племянник Квентин Белл. – Мы сказали себе, что впредь будем есть без салфеток, будем писать картины, сочинять книги, пить кофе после обеда вместо чая в девять вечера. У нас всё будет по-новому, у нас всё будет по-другому, мы встаем на путь испытаний...»

Образ жизни Стивенсов и в самом деле изменился, и изменился радикально. Они теперь что ни день ходили по книжным магазинам, на вернисажи, в театр и на танцы. Не на приевшиеся чопорные балы и приемы, где надо было слушать прескучные разговоры, устраивать свою личную жизнь и стараться понравиться английской «княгине Марье Алексевне», – а именно на танцы. Танцевала, впрочем, кое-как научившись, лишь Ванесса, – Вирджиния же стеснялась, поэтому обычно усаживалась в уголок и читала, до чего никому не было дела. Викторианский этикет остался в прошлом: атласные платья и белые перчатки уступили место сигарете, велосипеду и французскому роману – имиджу «новой женщины» из модных в те годы «невротических» рассказов Джордж Эджертона. Распростились с викторианскими нравами и мужчины: «они тоже отстаивали свою “свободу” – носили тонкие шерстяные костюмы, рубашки с отложными воротничками, кичились чистокровной анархией чувств... в поведении высказывали нарочитую впечатлительность и ранимость»¹⁷. Бывали Стивенсы, как и раньше, на концертах в Куинз-холл; Вирджиния, правда, музыку в молодости любила не слишком, уже гораздо позднее пристрастилась к бетховенским сонатам и квартетам, которые слушала дома на пластинках. Вот характерная запись в ее дневнике от 13 февраля 1915 года:

«Концерт был чудесный, но, слушая музыку, я решила (на концертах трудно не думать о чем-то постороннем), что все музыкальные творения ничего не стоят. Музыка истерична и говорит вещи, от которых потом становится стыдно».

Занимались и просветительской деятельностью: Вирджиния два года, с 1905-го по конец 1907-го, бесплатно преподавала в Морли-колледже на Ватерлоо-роуд, в вечерней школе для работающих мужчин и женщин. В то, что официанты, парикмахеры, портовые рабочие, даже самые, как теперь выражаются, «продвинутые», могут увлечься серьезными научными знаниями, не верили ни организаторы, ни нанятые преподаватели: Вирджинии предложили, сов-

¹⁶ Вулф В. «Своя комната» // Вулф В. Обыкновенный читатель / пер. с англ. Н.И.Рейнгольд. М.: Наука, 2012. (Литературные памятники).

¹⁷ Дэвид Герберт Лоуренс. Любовник леди Чаттерлей. Перевод И.Багрова.

мещаая просвещение и развлечение, рассказывать слушателям занимательные истории из прошлых веков, а также литературные сплетни, с чем Вирджиния прекрасно справлялась.

«Говорить могу сколько угодно, – писала она Вайолет Дикинсон. – И о чем угодно. Раз мисс Шипшэнкс уверена, что от меня будет толк, почему бы не попробовать? Завтра расскажу им про битву при Гастингсе – у них глаза на лоб полезут!»

Но ликбез Вирджинии довольно скоро наскучил: слушателей приходилось подолгу ждать, занимались они неохотно, предпочитали с лектором беседовать, задавать вопросы на отвлеченные темы. Вирджиния, чтобы их заинтересовать, должна была говорить не об английской литературе, а о Венеции, пересказывать древнегреческие мифы, рассказывать истории из жизни.

В этом «открытом университете» были задействованы и другие Стивенсы: Ванесса одно время – впрочем, недолгое – преподавала в Морли-колледж рисование, Тоби – латынь, Адриан – греческий. Дольше всех – до конца 1907 года – продержалась Вирджиния: людей, по преимуществу полуграмотных, она приохотила даже сочинять эссе о самих себе...

Гордон-сквер 46 знаменовал собой не только новое местожительство Стивенсов, но и новое явление в тогдашней английской литературе – интеллектуальный дискуссионный клуб на дому. Не только район британской столицы, где располагаются Лондонский университет и Британский музей, но место встречи дружеского объединения кембриджских выпускников, молодых людей искусства и науки, усвоивших приоритеты этической доктрины философа Джорджа Эдуарда Мура: «удовольствие от человеческого общения и наслаждение прекрасными предметами». Удовольствие от человеческого общения ученики Мура получали, в основном, на «Рождественских вечерах» мэтра в Кембридже, а после окончания университета – в лондонских литературных салонах.

Наслаждались «прекрасными предметами», получая неизменное «удовольствие от человеческого общения», поначалу всего несколько человек, не считая, естественно, четверых Стивенсов: двух братьев и двух сестер. Главным же инициатором четверговых дискуссионных «посиделок» на Гордон-сквер 46 был самый старший из Стивенсов – Тоби, это его кембриджские друзья составили основу блумсберийского сообщества. Первый «четверг» состоялся 16 марта 1905 года. Гостей было всего четверо, и эта встреча Вирджинии запомнилась:

«Когда в дверь позвонили, нас с Ванессой буквально распирало от любопытства. Час был поздний; в гостиной висел дым; повсюду тарелки с печеньем, кофе, виски; на нас не было вечерних платьев из атласа и искусственно выращенного жемчуга – вообще никаких нарядов. Тоби пошел открывать, первым в гостиной появился Сидни-Тёрнер, за ним Белл, потом Стрэчи. Вошли бочком и скромно уселись на диваны, вжавшись в подушки. Сидели и молчали, не зная, как начать: привычные вежливые фразы были не к месту... Пробовали завести разговор, предлагали разные темы. Но все предложения гости отметали... Беседа едва тлела – подобное было бы невозможно в гостиной на Гайд-парк-гейт. И всё же молчание молчанию рознь: здесь молчали не от скуки – от работы мысли. Коль скоро планка интересных тем была поднята так высоко, то, казалось, нет необходимости снижать ее попусту. Все сидели, уставившись в пол, и тут Ванесса говорит, что была недавно на выставке живописи, и зачем-то вворачивает слово «прекрасное». Тут же один из молодых людей поднимает голову и замечает: “Всё зависит от того, что вы понимаете под прекрасным”. Все моментально напряглись, словно наконец-то на арену выпустили быка... Не помню, чтобы я когда-то с таким же вниманием следила за каждым шагом, за каждым поворотом в развернувшейся интеллектуальной корриде. Как старательно

я налаживала свой маленький дротик и целилась, чтобы не промазать. А сколько было радости, когда твой ход засчитывали за весомый аргумент!»¹⁸

А уже через неделю, 23-го, число гостей удвоилось, и за столом, оживленно споря и перебивая друг друга, засиделись до глубокой ночи. О чем только не говорили! И что такое «атмосфера в литературе». И как надо понимать «природу правды». И в чем состоит природа сексуальных отклонений – к слову, многим блумсберийцам присущих. И как доказать, что в картине, сонате, стихотворении есть «прекрасное». Говоря о литературе, об искусстве вообще, отдавали предпочтение не истине о человеке и мире, а «истинности видения», причем искусство рассматривали как чуть ли не единственную ценность в мире. Ратовали за расширение границ культуры, бросали вызов замкнутости, творческой и жизненной консервативности викторианского искусства, сокрушали авторитеты «материалистов», что думают не о духе, а о теле, и «тривиальное и преходящее выдают за правдивое и длительное». Принципиальные агностики, они выступали против моральных догм и религиозных запретов – ни того, ни другого для блумсберийцев не существовало. Принципиальные радикалы, они выступали против любых условностей, против любой власти, щеголяли не только модными галстуками, но и непримиримыми взглядами. Немного освоившись, о своей интимной жизни говорили с таким же жаром и искренностью, как о книгах и спектаклях. О чем свидетельствует нижеследующая сценка, подробно описанная в дневнике Вирджинии. Сценка, правда, из времени более позднего: когда Стивены, Вирджиния в первую очередь, близко сойдутся с Литтоном Стрэчи, а Ванесса Стивен выйдет замуж за нам еще не известного Клайва Белла:

«Весенний вечер. Мы с Ванессой сидим в гостиной... В любую минуту может войти Клайв, и мы с ним пустимся в спор – сначала дружеский, не переходя на личности, однако потом начнем бегать по комнате и наносить друг другу оскорбления. Ванесса же сидит молча и делает что-то таинственное с иголкой и ножницами. Я взволнованно, возбужденно рассуждаю о своих делах, о том, что касается меня одной. Тут дверь открывается, и на пороге возникает длинная, злобная фигура мистера Литтона Стрэчи. Войдя, он ткнул пальцем в пятно на белом платье Ванессы:

– Сперма?

“Можно ли говорить такое?” – подумала я, и мы все громко рассмеялись. Это слово мигом разрушило все препоны скрытности и сдержанности. Нас будто увлек за собой мощный поток священной жидкости. Секс просочился в нашу беседу. Слово “содомит” готово было сорваться с наших губ. Мы говорили о совокуплении с той же откровенностью, с тем же возбуждением, как говорим о природе добра. А ведь еще совсем недавно мы об этом не могли и помыслить...»

Каких только тем не касались – лишь бы эти темы были запретными; совокупление, гомосексуализм, сексуальные отклонения были в их кругу такими же расхожими предметами для спора, как в светских салонах – политика и погода. Запретными и отвлеченными: блумсберийцы были искренне убеждены, как и Питер Уолш из «Миссис Дэллоуэй», что будущее цивилизации – в руках «преданных отвлеченностям». «Отвлеченно» говорили не только об искусстве, но и об «измах»: социализме, пацифизме, гомосексуализме. Да и сама атмосфера бесед на Гордон-сквер была отвлеченной, внежизненной: жизнь за окном никого не интересовала, как не интересовало и то, кто как себя ведет, как одет и как выглядит. Аргументировали гости Стивенов блестяще, а вот выглядели и одевались не ахти.

¹⁸ «Старый Блумсбери».

«Прискорбно, прискорбно! – сокрушался Генри Джеймс. – И что только себе думали Ванесса и Вирджиния, когда заводили таких друзей?»

«Более непрезентабельных, физически запущенных молодых людей, чем друзья Тоби, я в своей жизни не встречала», – вспоминала Вирджиния, которая однажды обмолвилась, что «должна видеть красивых людей», – и при этом, словно вступая в спор с самой собой, добавляла: – «Для меня лучшим доказательством превосходства этих личностей как раз служила их физически невзыгрывшая внешность и невнимание к одежде».

И собственного превосходства – тоже: Вирджиния всю жизнь была неряшлива, плохо за собой следила, неаккуратно одевалась, могла не причесаться, посадить на платье пятно...

Отсутствие интереса к одежде и внешнему виду означало интерес к чему-то другому, отвлеченному и возвышенному. Давало Вирджинии возможность «чувствовать, как взлетаешь на самый высокий гребень самой высокой волны».

Такие темы, как брак, болезни, туалеты, устройство на работу, бытовые проблемы, считались приземленными, не стоящими внимания. Никому не приходило в голову раздавать, подобно Джорджу Дакуорту, упреки или комплименты, как это бывало на Гайд-парк-гейт после очередного бала или приема: «Постарайся изобразить улыбку», «Сегодня ты очень неплохо смотрелась», «Что это ты весь вечер промолчала?».

Кстати о молчании. Сёстры, Вирджиния особенно, в обществе старшего брата и его кембриджских друзей на первых порах держались, как и полагалось юным викторианкам, незаметно, большей частью помалкивали. Помалкивали и упивались, насыщались аргументами и контраргументами участников «интеллектуальной корриды», «упражняли мозги».

«С замирающим сердцем я следила за головокружительными поворотами самых стойких из спорщиков, которые, словно скалолазы, взбирались всё выше и выше, пока, наконец, не водружали на место последний камешек – неопровержимый аргумент в запредельном споре. А ты стоял у подножия горы, смутно понимая, что у тебя над головой совершается чудо».

Об этом же она напишет в апреле 1908 года Литтону Стрэчи:

«Вы вызываете во мне ярость вашими интеллектуальными штучками. Мое почтительное отношение к умным молодым людям приводит меня в состояние интеллектуального паралича. Мне и в самом деле непонятно, о чем вы все болтаете».

Помалкивали, мало что понимали и радовались (Вирджиния, во всяком случае), что балы и светская жизнь обитательниц Гайд-парк-гейт остались позади.

«Она не любит наряжаться. Ей симпатичны друзья, бывающие у ее братьев, а также сборища, на которых молодые художники и поэты обсуждают будущее устройство мира»¹⁹.

В обсуждении будущего устройства мира сёстры участия не принимали, и вместе с тем интеллект и бурный темперамент и Ванессы, и Вирджинии чувствовался, на что, кстати говоря, обратил внимание приятель Тоби и «заочный» член блумсберийского сообщества Леонард Вулф, ставший лет десять спустя мужем Вирджинии. Вот что он писал в «Жатве», первом томе своих воспоминаний, о знакомстве с сестрами Стивен в Кембридже:

«Обе были крайне молчаливы, и поверхностному наблюдателю они могли показаться незаметными, держащимися в тени скромницами. Однако

¹⁹ Вулф В. Я – Кристина Россетти /пер. М.Лукашкиной. // Иностранная литература, 2012, № 12. С. 218–219.

всякому, знающему толк в лошадях, хорошо известно: у лошади, которая ведет себя поначалу тихо и незаметно, скрывается в уголках глаз нечто, предупреждающее вас быть с ней настороже. Вот и во взгляде обеих мисс Стивен запрягано предостережение об опасности, взгляд этот выдает острый ум, скептический и утонченный».

Не себя ли имела в виду Вирджиния Вулф, когда писала эссе про Кристину Россетти, про которую сказано в ее дневнике: «На Кристине великий знак поэтессы от рождения»?²⁰

²⁰ «Дневник писательницы». С. 33–34. 4 августа 1918 г.

Глава четвертая Блумсбери. Действующие лица

1

Вот четверка первых блумсберийцев.

Биографа и эссеиста Литтона Стрэчи Вирджиния (и не она одна) по праву считала «квинтэссенцией культуры», а Тоби уверял, что своей немислимой образованностью Стрэчи даже внушает ему некий мистический ужас. Этот длинный, худой, как жердь, бородатый молодой человек казался – да и был – не от мира сего. Однажды в колледже, рассказывал Тоби, Литтон ворвался к нему в комнату с криком: «Слышишь музыку сфер?», после чего рухнул без сознания. Надмирность сочеталась у Стрэчи с исключительными и разносторонними способностями. Говорили, что, когда он сдавал в Кембридже экзамены, его приходили послушать профессора. «Какую бы оценку, Стрэчи, вам ни поставили, – заметил якобы один из них, – она будет ниже ваших способностей».

Как и его друзья и единомышленники, Стрэчи был выпускником кембриджского колледжа Святой Троицы и членом тайного студенческого «разговорного» общества «Кембриджские апостолы» (“Cambridge Conversazione Society”), основанного еще в начале XIX века.

Стрэчи – автор трех знаменитых художественных биографий-исследований, ставших сегодня классическими и ознаменовавших собой важный этап в развитии этого столь весомого в английской литературе жанра: «Выдающиеся викторианцы», «Королева Виктория», «Елизавета и Эссекс». Отдавая дань выдающимся викторианцам – кардиналу Мэннингу, Томасу Арнолду, Флоренс Найтингейл, генералу Гордону, – Стрэчи, тем не менее, был, как и другие блумсберийцы, язвительным и остроумным критиком художественных, социальных, религиозных и, главное, этических постулатов и предрассудков викторианского общества – и не только в теории, но и в жизни.

Пройдет несколько лет, и Стрэчи сделает Вирджинии предложение руки и сердца, и предложение это будет принято, однако на пути союза родственных душ встанет нетрадиционная сексуальная ориентация жениха... Испугались оба; испугались и отступили:

«Прежде я по разным причинам молчал об этом, – пишет Стрэчи брату Джеймсу 9 марта 1909 года. – 19 февраля я сделал предложение Вирджинии, а сам подумал: “Не дай бог, оно будет принято!” И оно было принято. Можешь вообразить это неловкое мгновение, особенно когда я понял, причем сразу же, как это мне отвратительно. У нее потрясающая интуиция, и, к счастью, выяснилось, что она не влюблена в меня. Всё прояснилось уже на следующее утро: она объявила, что меня не любит, а я – что не собираюсь на ней жениться. В результате мне удалось с честью отступить...»²¹

Из всех блумсберийцев с Литтоном Стрэчи – брюзгливым, раздражительным, требовательным, неуживчивым человеком, «старым бородатым змием», как блумсберийцы называли Литтона, – Вирджинию связывала, пожалуй, самая большая человеческая и творческая близость. Вирджиния с нетерпением и даже трепетом ждала от него отзыва о своих книгах, и Литтон исправно их хвалит, иногда даже перехваливает; сборник эссе «Обыкновенный читатель»

²¹ «Дневник писательницы». С. 412. Отрывок из письма Литтона Стрэчи от 9 марта 1909 года, адресованного его брату Джеймсу.

назвал «божественной книгой», «классикой». Предсказал – и не ошибся – роману «Миссис Дэллоуэй» бессмертие, чем подругу даже несколько ошарашил:

«Литтон слишком меня хвалит, – напишет она в дневнике в октябре 1922 года, – чтобы сделать приятное».

В 1922 году роман еще только начат, Стрэчи читает отдельные главы в рукописи. Когда же тремя годами позже книга увидит свет, Стрэчи – как и Вирджиния, часто менявший свое суждение, – выскажется о нем куда более сдержанно; заявит, что «между орнаментом (на редкость прекрасным) и сутью (довольно заурядной) есть диссонанс»²².

И даже сравнит роман с разбитым камнем, чем, впрочем, автора нисколько не расстроит: «Я люблю его еще сильнее за то, что он сказал», – запишет в дневнике Вирджиния в тот же день.

Вирджиния ждала от Стрэчи похвал, но и сама в письмах и рецензиях не жалела эпитетов в его адрес. Превозносила «Выдающихся викторианцев»: «Это лучшее из всего, что Вы написали».

Прислушивалась к его мнению, благодарила за замечания и исправления. Просила «просветить» ее относительно достоинств и недостатков Гарди, Джеймса, Беннетта, как будто не имела собственного мнения на их счет. Стрэчи всегда оставался для нее мэтром, учителем, хотя никогда и ничему ее не учил.

Для Вирджинии Стрэчи был не только непререкаемым авторитетом, но и неиссякаемым источником радости. К «старому змию», «папочке» она неизменно относилась с симпатией, даже подобострастием, и в то же время – с легкой иронией, какую мы порой допускаем в адрес близких, симпатичных нам людей.

«Я представляю Вас не иначе, как венецианским принцем в небесно-голубых лосинах, лежащим на спине в саду и болтающим щегольской ногой в воздухе», – пишет она в ноябре 1908 года. Или спустя восемь лет: – «Как вы? Влюблены? Пишете? Полагаю, Вы великолепно расцветаете вместе с весенними цветами».

Притворяется (и Стрэчи об этом знает – принимает, так сказать, условия игры), что успех его книг ей неприятен, что она ревнует к его славе:

«Слухи о Вашем успехе отравляют мой покой... Будьте уверены, сам Бог посылает фурункулы, волдыри, сыпь, зеленую и синюю рвоту тем, у кого книги выходят четырьмя тиражами за шесть месяцев. От меня Вам не видать сочувствия».

Делает вид, что ей до него далеко:

«Ах, мне никогда не достичь Ваших высот!.. Ах, я могла только мечтать об этом, но не смела даже надеяться», – пишет она в январе 1921 года, узнав, что Литтон посвятил ей свою книгу о королеве Виктории».

Демонстрирует чисто женское кокетство, ей, вообще говоря, не свойственное.

«Вы еще помните одну из дочерей Лесли Стивена – кажется, младшую?» – пишет она Стрэчи 8 сентября 1925 года. А кончает письмо так: – «Ваша старая, распутная домашняя карга».

Зазывает в гости: «Почему Вы не с нами? Приезжайте же!»

Упрекает (опять же с налетом кокетства, иронии) Литтона, что тот ей редко пишет:

²² Там же. С. 112–113. 18 июня 1925 г.

«С Вашей стороны чертовски нехорошо не писать чаще – если учесть Ваше владение языком... Так что немедленно откладывайте всё в сторону и пишите длинное-предлинное письмо»²³.

Строит из себя томящуюся, тоскующую влюбленную: «Знайте, если Вы приедете, то мне будет, о чем мечтать»²⁴.

А впрочем, почему строит? Вирджиния и в самом деле была в Литтона влюблена и своей платонической любви не скрывала: «Мне нравится разговаривать с Вами – но только с Вами одним из всех людей на свете».

Под разговором она имеет в виду переписку: последние несколько лет с Литтоном она встречалась нечасто. А вот ее последнее письмо старому змию, уже тяжело, неизлечимо больному:

«Только что проснулась и вспомнила, что видела во сне, будто я в театре, в задних рядах партера, и вдруг Вы, сидя впереди, повернулись и посмотрели на меня, после чего мы оба зашлись от смеха... И почему только такие сны ярче, чем живая жизнь?»²⁵

Вопрос риторический, а сон – признание в любви, пусть и платонической. Не пройдет и двух месяцев, как Вирджинии приснится совсем другой сон; она запишет его в дневнике 8 февраля 1932 года – вскоре после смерти Стрэчи, последовавшей в конце января:

«...Я проснулась ночью с ощущением, будто нахожусь в пустом зале: Литтон умер. Смысл жизни – когда я не работаю – сразу мелькает, теряется. Литтон умер, и нет ничего конкретного, чем можно было бы отметить его жизнь. А они пишут о нем дурацкие статьи».

Утрата будет невозполнимой. Самой, должно быть, большой после смерти родителей и старшего брата. В своей книге Квентин Белл пишет, что Вирджиния горько оплакивала смерть друга. Как и Леонард Вулф, друживший с Литтоном еще в Кембридже и говоривший о нем:

«Он самый необыкновенный из необыкновенных. С ним никто не может сравниться – и умом, и вкусом, и литературным дарованием, и юмором, и познаниями в музыке и живописи. И искрометностью».

* * *

Художественный критик Клайв Белл, получивший, как и Стрэчи, образование в Кембридже, также испытал на себе влияние Мура и его «Основ этики» с их акцентом на первостепенном значении человеческого общения.

«Знаешь, я познакомился с удивительным парнем, его зовут Белл, – с воодушевлением сообщил однажды сестрам Тоби, который, отмечала Вирджиния, отличался поразительной способностью идеализировать друзей. – Он что-то среднее между Шелли и сквайром-атлетом».

По словам Тоби, до поступления в Кембридж Белл вообще ничего не читал, а потом «вдруг открыл для себя Шелли и Китса и от восторга чуть не помешался». Белл бредил поэзией, знал наизусть массу стихов и сам сочинял их. При этом был отличным спортсменом,

²³ Письма В. Вулф Литтону Стрэчи от 29 августа 1921 г. и от 1 февраля 1922 г.

²⁴ Письмо Литтону Стрэчи от 11 февраля 1922 г.

²⁵ Письмо Литтону Стрэчи от 10 декабря 1931 г.

стрелком, охотником и наездником; в Кембридже он, выходец из богатой семьи сельских сквайров, держал собственных лошадей.

Белл – как и Стрэчи, как и все блумсберийцы, которые, впрочем, никогда не придерживались ни единой философской доктрины, ни единой эстетической системы, – был иконоборцем и формалистом. В своей книге «Искусство» он выдвинул близкую модернистам идею «значимой формы» (“significant form”), по поводу чего ядовито высказался проходной персонаж романа Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед»:

«Идею “значимой формы” следует либо принять, либо отвергнуть in toto. Если признать третье измерение на двухмерном полотне Сезанна, тогда приходится признать и преданный блеск в глазу лэндсировского спаниеля»²⁶.

Эстет Белл, вслед за Уайлдом, ставил искусство выше природы, писал, что «нет ничего более нравственного, чем соображения эстетические», и это также нашло отражение в романе Во:

«Но истина открылась мне только в тот день, когда Себастьян, листая от нечего делать “Искусство” Клайва Белла, прочел вслух: “Разве кто-нибудь испытывает при виде цветка или бабочки те же чувства, что и при виде собора или картины?” – и сам ответил: “Разумеется. Я испытываю”».

Вместе с Роджером Фраем Белл явился стойким и последовательным ценителем французских постимпрессионистов, с которыми знакомил британских любителей современной живописи, вызывая бурю негодования у старшего поколения, воспитанного на живописи академической.

И не только у старшего. Вот что пишет о Белле и блумсберийцах один из самых ярых их оппонентов Дэвид Герберт Лоуренс: «Клайв Белл и компания крайне утомительны. Я ощущаю себя в совершенно другом мире; для меня эти люди, их вкусы – с мертвой планеты вроде Луны, где никогда не будет расти трава, а облака наливаются краской» (из письма Лоуренса художнице Дороти Бретт, 8 марта 1927 г.).

В октябре 1905 года Белл вместе с Ванессой присовокупил к «четвергам» «пятницы»; в «Клубе по пятницам», просуществовавшем несколько лет, блумсберийцы во главе с Беллом обсуждали наиболее заметные выставки и вернисажи, а также их участников. Во время первого путешествия Стивенсов по Европе Белл, влюбившись в Ванессу, водил их по парижским картинным галереям и студиям художников, со многими из которых был хорошо знаком.

* * *

Стрэчи увлекался биографическим жанром, Белл – изобразительным искусством и поэзией. А всеобщий любимец блумсберийцев, журналист, критик и редактор Десмонд Маккарти, блестящий собеседник и остро слов, скептик, красавец, человек в высшей степени светский и, как считалось, огромного обаяния, – театром. «Любезный ястреб», как его прозвали друзья, писал рецензии, статьи (главным образом в *New Statesman*) и книги о современной драматургии, посвятил монографию Бернарду Шоу. Говорил, впрочем, больше, чем писал, был непревзойденным мастером того, что называется по-английски “small talk” и чем так знамениты соотечественники Маккарти, ирландцы. Среди блумсберийцев ходила легенда, будто однажды Десмонда заперли в пустой комнате, чтобы он, вместо того чтобы вести светские разговоры, сел писать «роман века». Это Десмонд Маккарти очень точно определил «внеидеологический» характер блумсберийского сообщества:

²⁶ Роман Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед» здесь и далее цитируется в переводе И.Бернштейн.

«Блумсберийцы – не более чем несколько друзей, чьи любовь и уважение друг к другу выдержали проверку временем. И чья интеллектуальная искренность позволила им на протяжении тридцати лет наслаждаться обществом друг друга».

Это жена Маккарти, Молли, в одном из писем нарекла юных интеллектуалов, еженедельно собиравшихся на Гордон-сквер, «блумсберийцами».

* * *

Среди инициаторов встреч в Блумсбери был и Сэксон Сидни-Тёрнер, человек молчаливый и чудной. В доме на Гордон-сквер он появлялся обычно лишь за полночь; ночью жадно читал и ходил по гостям, днем спал.

«Днем он в гости не ходил, – вспоминала Вирджиния. – Только если ночью заметит в окнах свет, подойдет снаружи и поскребется, залетит, точно мотылек на огонь. Бывало, мы засиживались до двух-трех часов утра. Время от времени Сэксон вынимал изо рта трубку, словно собираясь что-то сказать, – и отправлял ее обратно в рот, так и не сказав ни слова. Но вот он откидывал назад волосы и произносил что-то краткое, значительное и решающее. И его уже было не остановить».

«Ходячая энциклопедия», как и Стрэчи, Сидни-Тёрнер досконально знал древнегреческую литературу, читал на многих языках, учил китайский, сочинял стихи, писал картины, был вдобавок истинным меломаном, обожал Вагнера, не пропускал ни одного Вагнеровского фестивалю в Байройте, да и сам писал сонаты и симфонии. Проявил себя этот энциклопедист и в искусстве беседы, где, как и Маккарти, демонстрировал остроумие и полемический задор. Умел, как и Вирджиния, задать неожиданный, подчас довольно странный вопрос. Например, такой:

«Что вы имели в виду, Вирджиния, когда года три назад заявили, что ваши взгляды на жизнь такие же, как у Генри Джеймса, а мои – как у Джорджа Мередита?»

Завсегдатаи «четвергов» на Гордон-сквер ждали от него, как и от Маккарти, весомых достижений буквально во всех сферах искусства – но так и не дождались: многие блумсберийцы, Маккарти и Сидни-Тёрнер в том числе, проявили себя главным образом в разговорном жанре.

* * *

Со временем сообщество друзей-интеллектуалов пополнилось новыми именами – впоследствии выдающимися. В том числе – еще одним приятелем Тобиаса Стивена по Кембриджу, уже упоминавшимся Леонардом Вулфом: писателем и публицистом, реформатором-фабианцем (реформаторами, впрочем, были так или иначе все блумсберийцы), политическим философом, идеологом Лиги наций. Маленького роста, худой, шуплый еврей с голубыми глазами, глубокими складками у губ, лихорадочным, ищущим взглядом, вечно дрожащими руками и мощным, даже, можно сказать, свирепым интеллектом. И с солидным классическим образованием, которое ему так в жизни и не пригодилось.

«Неистовый, презирающий человеческий род скептик», – отзывался о своем друге Тоби. «Этот неистовый еврей-мизантроп, пребывавший в постоянной лихорадке», – охарактеризовала Вирджиния своего будущего мужа, внука торговца брильянтами из Амстердама, выходца

из многолетней, разорившейся еврейской семьи из лондонского пригорода Патни. Их первая встреча состоялась в ноябре 1904 года, за полгода до начала «четвергов» на Гордон-сквер. Вулф должен был тогда ехать на Цейлон, он поступил на колониальную службу в Шри-Ланке, «словно отряхнул прах цивилизованного мира со своих ног», и никто не знал, вернется он в Лондон или навсегда похоронит себя среди дикарей в тропических джунглях.

Писал Вулф много и на самые разные темы, от романов до памфлетов, от рецензий и научных статей до политических трактатов и социальных прогнозов. И при этом постоянно сомневался в своих литературных способностях, отчего, случалось, впадал в прострацию, что не раз отмечала в своем дневнике Вирджиния:

«После того как я совершенно искренне целых пять минут расхваливала сочинения Л., он сказал: “Перестань”, и я перестала, и говорить стало не о чем. Его подавленность я объясняю неуверенностью в своих литературных способностях, в том, что он вообще может стать писателем. Человек он практического склада, а потому его меланхолия куда глубже напускной меланхолии таких сомневающихся в себе людей, как Литтон, сэр Лесли и я. Спорить с ним невозможно».

Любопытно, что близкие друзья, Литтон Стрэчи и Леонард Вулф, восприняли сестер Стивен совершенно по-разному: Стрэчи подметил существовавшую между ними разницу, Вулф – сходство. А лучше сказать – увидели их с разных сторон: Стрэчи, так сказать, с внутренней стороны, Вулф – с внешней.

«В воскресенье я зашел к ним, в их “готический особняк”, и выпил чаю с Ванессой и Вирджинией, – пишет Стрэчи. – Последняя показалась мне существом довольно примечательным: очень остроумна, ей есть что сказать, и при этом она совершенно выпадает из реального мира. Бедной Ванессе приходится держать под контролем трех своих безумных братьев и сестру, и вид у нее измученный и печальный».

«Сёстры были в белых платьях и широкополых шляпах, под зонтиками от солнца, и обе хороши так, что дух захватывает», – лаконичен Вулф.

* * *

Пополнилось сообщество кембриджских «аристократов духа» и еще одним близким другом Стивенов – искусствоведом и художником, критиком журнала *Athenaeum* Роджером Фраем, чью биографию Вирджиния, по просьбе его вдовы, напишет под конец жизни, в 1938 году, заслужив высокую оценку критиков: *Times* писала, что книга Вулф «займет весомое место среди биографий». Похвалили книгу все, Фрая знавшие, и в первую очередь – Марджери Фрай: «Это он! Бесконечно восхищена!» Напишет, словно компенсируя недостаточную близость с Фраем при жизни:

«Странные отношения связывают нас с Роджером: я возродила его после смерти. Какая-то странная посмертная дружба, в некотором смысле более близкая, чем наша дружба при его жизни»²⁷.

Смерть Фрая в 1934 году Вирджиния перенесет почти так же тяжело, как смерть Литтона Стрэчи. В ее дневниках найдется немало теплых слов в его адрес:

²⁷ «Дневник писательницы». С. 294–295. 30 декабря 1935 г.

«Большая, нежная душа... достойный, честный, большой... жил разнообразно, щедро и с любопытством... милый Роджер Фрай, который любил меня, был прирожденным лидером... Самый из нас “озаренный”... Мне даже не с кем его сравнить»²⁸.

И горьких слов в связи с его кончиной: «глухая стена», «ужасное оскудение», «тишина». На известие о смерти Стрэчи, читатель помнит, Вирджиния откликнулась сходным образом: «...проснулась ночью с ощущением, будто нахожусь в пустом зале».

Как и Леонард Вулф, Фрай был поначалу «дистантным» блумсберийцем. Несколько лет он проработал в нью-йоркском «Метрополитен». Изучал фольклорные традиции в искусстве. Хотя сам был живописцем старой школы, многие годы состоял членом клуба «Новое английское искусство». Разделяя всеобщее увлечение культурой Серебряного века, русским балетом, Дягилевым, интересовался также русской живописью: одно время носился даже с идеей организовать совместную выставку русских и английских художников начала века. Любил и французов – Малларме, Сезанна; отдавал должное кубистической живописи Пикассо. Вместе с Беллом в 1910 и 1912 году открыл в лондонской галерее «Графтон» две имевшие громкий и шокирующий резонанс выставки постимпрессионистов. В каталоге к одной из них Фрай (термин «постимпрессионизм» принадлежит ему) написал о французских художниках новой волны то же, что с равным успехом можно было бы сказать и о блумсберийцах:

«Они стремятся увидеть новую реальность. Они хотят не подражать старым формам, но создавать новые, не имитировать жизнь, но найти ее эквивалент».

В связи с одной из этих выставок, на которой в декабре 1910 года демонстрировались полотна Ван Гога, Сезанна, Гогена, Пикассо и Матисса, Вирджиния Вулф, точно уловив начало новой, не только постимпрессионистической, но и поствикторианской культурной эпохи, произнесет в программном эссе «Мистер Беннет и миссис Браун» пророческие слова:

«В декабре 1910 года или около того времени человеческая природа изменилась. Изменились все человеческие отношения: между хозяевами и слугами, мужьями и женами, родителями и детьми. А когда меняются человеческие отношения, происходит смена религии, поведения, политики и литературы».

* * *

Пополнилось блумсберийское сообщество экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом, чья книга «Общая теория занятости, прибыли и денег» произвела революцию в экономической теории. В 1925 году Кейнс побывал в СССР и написал книгу «Беглый взгляд на Россию». Что взгляд этот беглый, свидетельствует сделанный Кейнсом вывод: в современной России «рождается небывалый экономический эксперимент». Любовь к науке Кейнс сочетал с увлечением искусством, балетом (и балеринами) в первую очередь: в 1945 году он станет первым председателем Совета по искусству Великобритании. Литератором Кейнс не был, однако никто, пожалуй, не описал так ярко интеллектуальную атмосферу, царившую в кружке блумсберийцев, как это сделал в своем эссе крупнейший экономист прошлого века.

Стали блумсберийцами философ Бертран Рассел и прозаик, издатель, биограф Дэвид Гарнетт, известный фантастическими повестями «Женщина-лисица» и «Человек в зоологическом саду», а также тем, что его мать, Констанс Гарнетт, впервые перевела на английский

²⁸ «Дневник писательницы». С. 257. 15 сентября 1934 г... С. 339–341. 1 ноября 1938 г.

язык чуть ли не весь русский «золотой век» – Гоголя, Тургенева, Гончарова, Толстого, Достоевского, Герцена, Чехова. Переводчицей, заметим, Гарнетт была не первоклассной (Набокову и Бродскому можно верить), но ведь первопроходцу всегда трудно...

Пополнилось собрание на Гордон-сквер и Эдвардом Морганом Форстером, автором вошедших в историю английской литературы романов «Комната с видом», «Говардс-энд» и «Поездка в Индию», а еще – знаменитых лекций по литературе, с которыми писатель в 1927 году выступал в Кембридже и которые впоследствии были опубликованы под названием «Аспекты романа». Форстер, как и почти все «глашатаи нового искусства», как без ложной скромности называли себя блумсберийцы, учился в Кембридже, входил в число «Апостолов», увлекался «Этикой» Мура, стремился, как и другие блумсберийцы, не «имитировать жизнь, а найти ее эквивалент», – однако регулярное участие во встречах блумсберийцев принимал лишь первое время.

Лондонское литературное сообщество разделилось: одни – такие, как Форстер, Томас Стернз Элиот, Кэтрин Мэнсфилд, Хью Уолпол, – были если не блумсберийцами (регулярно на «четвергах» они, во всяком случае, не присутствовали), то сочувствующими их интересам и чаяниям. Другие же разделять взгляды Блумсбери наотрез отказывались и называли общество, собиравшееся по четвергам на Гордон-сквер, «кликлой заговорщиков». В 1911 году поэт Руперт Брук назвал «круг Стрэчи» «вероломным и порочным» (“treacherous and wicked”); в схожем духе выразился, и не раз, Дэвид Герберт Лоуренс, назвав деятельность Кейнса в Кембридже «коварной болезнью» (“insidious disease”); ярый и последовательный атеист, он обвинял Стрэчи, автора биографии кардинала Мэннинга, в создании «новой религии», и при этом не выбирал выражений: «Будь проклят этот Стрэчи – прожорливый пес, который требует новой религии!».

2

Центром притяжения блумсберийцев были, скорее, сёстры Стивен, чем братья (хотя, повторимся, почти все участники дискуссионного клуба учились вместе с Тоби в Кембридже и попали на Гордон-сквер благодаря ему). А лучше сказать – двумя центрами притяжения: уж очень непохожи, о чем мы знаем по отзыву Стрэчи, были Ванесса и Вирджиния. В том числе и внешне: если красота Ванессы была чувственной, более уверенной в себе, то красота Вирджинии – более аскетичной и утонченной.

«Ванесса была, мне кажется, красивее Вирджинии, – вспоминал Леонард Вулф. – Черты лица были у нее более совершенны, цвет лица ярче, глаза больше и выразительней. В ней было что-то от великолепия богини, представшей перед Адонисом у Руперта Брука. Для многих в ее внешности было что-то настораживающее, ибо в ней было больше от Афины и Артемиды, чем от Афродиты.

Вирджиния же, несмотря на несомненное фамильное сходство, была совсем другой. Когда она была здорова, спокойна, счастлива и в настроении, лицо ее светилось какой-то почти неземной красотой. Необычайно красива была она также, когда спокойно сидела с книгой или о чем-то думала. Но выражение ее лица менялось с невероятной быстротой, стоило по нему пробежать волнение, или боли, или умственному напряжению. Оно по-прежнему оставалось красивым, но от тревоги красота становилась какой-то болезненной».

Если Ванесса держалась естественно, органично, то Вирджиния была порой резка, угловата, в ее манерах, особенно в отношении новых людей, сквозило некоторое высокомерие. Ванесса чаще помалкивала, Вирджиния же, освоившись, сделалась словоохотливой; возбуждись, никому не давала слово вставить, и в ходе беседы не раз приводила в некоторое замешательство плохо ее знавших. Человека, впервые оказавшегося в доме и только что пришедшего, могла с порога огоршить неожиданной просьбой: «Ну, расскажите же нам...» А впрочем, вызывать блумсберийцев на разговор не приходилось: беседа была главным меню четвергов на Гордон-сквер.

«Разговоры, разговоры, разговоры, – писала позднее Вирджиния. – Как будто всё можно было выговорить; душа сама слетала с губ в тонких серебряных дисках, которые таяли в сознании молодых людей, как лунный свет. – И вспоминала слова Чехова: – <...> “У родителей наших был бы немыслим такой разговор, как вот у нас теперь, по ночам они не разговаривали, а крепко спали; мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и всё решаем, правы мы или нет”».

Интеллектуальными словопрениями («правы мы или нет»), полемикой – устной и письменной – отношения внутри блумсберийского кружка не ограничивались. Блумсберийцев связывали между собой отнюдь не только поиски истины или размышления о судьбах человечества и современного искусства. Они были оплетены паутиной сложных личных отношений, далеко не всегда только дружеских. В качестве темы их ночных бдений любовь и брак не котиrowались; любовь не обсуждалась, любовью занимались, и относились к ней с легкостью и неприкрытой откровенностью. Причем любовью по большей части однополый: большинство блумсберийцев были гомосексуалистами (Леонард Вулф – едва ли не единственное исключение), чем вызывали живейшее отвращение у того же Лоуренса, который сравнивал Кейнса и его любовника Дункана Гранта с «гнусными черными жуками». «Не переношу их, они вызы-

вают у меня непереносимое чувство затхлости, будто я вдыхаю зловоние клоаки», – замечает писатель в письме Дэвиду Гарнетту от 19 апреля 1915 года. Причем гомосексуалистами не только на практике, но и в теории: женщины, дескать, ниже мужчин и телом и духом, а потому, с этической точки зрения, мужчины заслуживают любви больше, чем женщины.

К сексуальной свободе блумсберийцы призывали отнюдь не только на словах и не только у себя дома: на Бал постимпрессионистов сестры Стивен, к вящему ужасу собравшихся, явились не только с голыми плечами, но и с голыми ногами, изображая то ли таитянок Гогена, то ли танцовщиц Дега. Между сексом и браком блумсберийцы – не чета викторианцам – решительно отказывались ставить знак равенства; молва, однако, как это обычно бывает, приписывала им непотребства, которых они не совершали; прошел слух, например, что Ванесса Стивен и Мейнард Кейнс совокуплялись посреди переполненной гостиной у всех на глазах. Столь вызывающе блумсберийцы, разумеется, себя не вели. И вместе с тем у юного Десмонда Маккарти была давняя и ни от кого не скрываемая связь с престарелой мисс Корниш. Гомосексуалист Литтон Стрэчи, как уже говорилось, делал предложение Вирджинии – и при этом был любовником еще одного блумсберийца, художника Дункана Гранта. Грант, в свою очередь, был, как уже говорилось, любовником Кейнса и, одновременно, Ванессы, жены Белла, которая, в свою очередь, одно время была любовницей Фрая; Белл же, у которого до Гранта был роман с тем же Фраем, не один год был увлечен Вирджинией.

Однажды, правда, в доме на Гордон-сквер разговор о браке всё же зашел. Как-то под вечер, вспоминала Вирджиния, Ванесса, любуясь на себя в зеркало, закинула вдруг руки за голову «свободным движением, в котором читались и женское своеволие, и податливость», и заявила младшим брату и сестре: «Скоро мы все переженимся, вот увидите». Вирджиния расстроилась: Стивены только-только вкусили свободы и независимости, а судьба уже готовилась разметать их в разные стороны. И предчувствие, как пишут в душещипательных романах, ее не обмануло: спустя месяц Клайв Белл сделал Ванессе предложение, после чего Тоби мрачно заметил: «Теперь можно закрывать четверги!» Четверги, однако, выжили – в отличие от Тоби.

Но теперь местом действия интеллектуальных баталий кембриджских единомышленников был отнюдь не только Гордон-сквер. Блумсберийцы, Стивены во всяком случае, любили путешествовать, охота к перемене мест была им сызмальства свойственна. Охота к перемене мест и тщательная фиксация впечатлений в «бортовом журнале» – как бы ничего не упустить. Когда весной 1905 года Вирджиния отправилась сначала в Италию, а потом, вместе с Адрианом, – в Португалию и Испанию, она дала себе слово, что будет фиксировать в дневнике мельчайшие подробности чужой жизни. И занимали ее (будут занимать всегда) не архитектура, не музеи, даже не люди и местные нравы. А «пейзажи, звуки, волны, горы».

Второй совместный выезд за границу, в Грецию, куда в сентябре 1906 года вместе с Вайолет Дикинсон отправились братья и сестры Стивен, кончился плохо. Судьба продолжала испытывать семью сэра Лесли. Иллюзии, которые питали молодые образованные англичане, приехавшие на Пелопоннес, быстро развеялись: современная Греция с ее грязью, клопами, нищими мало походила на древнюю Элладу. В Олимпии (куда, между прочим, Вирджиния отправит по своим стопам героя своего третьего романа «Комната Джейкоба») юные путешественники напились сырого молока, после чего Ванесса и Вайолет, сильно захворав еще в Греции, с трудом, через Константинополь, добрались до дома. Весь обратный путь Ванессе было так плохо, что ее приходилось нести, она то и дело теряла сознание. Всеобщий же любимец Тоби, всех опередив, вернулся в Лондон 1 ноября, однако вскоре слег с высокой температурой, и спустя две недели, в возрасте двадцати шести лет, умер от тифа (а не от малярии, как полагали врачи, уверявшие, что за молодого человека можно не беспокоиться). Одновременно с Тоби лежала в тифу и Вайолет, и Вирджинию предупредили, что больная ни под каким видом не должна проведать о смерти ее старшего брата.

«Дела у нас идут относительно неплохо, – писала подруге Вирджиния через три дня после смерти Тоби. – Держится Тоби превосходно. Он очень сердится на своих медсестер за то, что те не дают ему бараньих котлет и пива, и все время спрашивает, почему ему нельзя поехать вместе с Беллом поохотиться на диких гусей».

Спустя два дня после похорон Ванесса принимает окончательное решение связать свою судьбу – и личную, и профессиональную – с Клайвом Беллом, в феврале 1907 года выходит за него замуж, и Стивенсы, как покойный Тоби и предсказал, разъезжаются. У блумсберийцев теперь не один, а два дискуссионных салона, два «четверга».

Хозяйкой старого, на Гордон-сквер 46, становится Ванесса Белл; она же собирает блумсберийцев, правда, нерегулярно, и по пятницам. К уже упоминавшемуся «Клубу по пятницам», где эстетическим образованием блумсберийцев занимались приглашенные Ванессой искусствоведы и художники из Королевской академии в Кембридже и из Слейд-скул, художественного училища при Лондонском университете, в конце 1907 года прибавилось и «Общество полуночников» (“Midnight Society”). Его инициатором стал также Клайв Белл. А следом – «Общество чтения пьес» (“Play Reading Society”). Сидни-Тёрнер, Ванесса, Белл, Адриан, Стрэтчи и Вирджиния разыгрывали по ролям знаменитые пьесы английского и не английского репертуара; начали с «Рецидива, или Добродетели в опасности» Джона Ванбру, английского драматурга времен Реставрации, читали вслух также Шекспира, елизаветинцев, Бена Джонсона, Мильтона («Самсон-борец»), Суинбёрна, Ибсена; в «Росмерсхольме» Вирджиния исполнила роль героини-феминистки Ребекки Уэст.

Хозяйкой же нового салона, на Фицрой-сквер 29, куда уже через месяц после свадьбы Ванессы переехали младшие брат и сестра, становится Вирджиния Стивен.

Глава пятая

Фицрой-сквер 29

Блумсберийцы, в большинстве своем, отдадут предпочтение дому Вирджинии (где до нее жил Бернард Шоу): у Ванессы ведь теперь своя семья, она много и целенаправленно занимается живописью, и ей не до интеллектуальных коррид; «пятницы» – скорее исключение. К тому же Клайв Белл, в отличие от Стивенсов, чурается светской жизни, он сосредоточен на своих делах, предпочитает жить обособленно, узким кругом.

«Несса и Клайв живут, мне кажется, как светские дамы во французской аристократической гостиной, – заметила однажды не без некоторого раздражения Вирджиния. – Они окружили себя избранным кругом остроловов и поэтов, и Несса сидит меж ними, точно богиня».

Кроме того, у Беллов ожидаются дети. «Дети», впрочем, есть и у Вирджинии: за младшим братом – вялым, медлительным, безалаберным, инфантильным – нужен, что называется, «глаз да глаз». Присматривает, впрочем, и брат за сестрой: ведет подробный дневник происходящего на Фицрой-сквер.

Четверги у Адриана и Вирджинии (заявшей комнату на третьем этаже, куда она перевезла с Гордон-сквер тысячи книг, пианолу, светло-зеленый ковер, а заодно – пыль и табачный дым) меж тем продолжают, однако состав постоянных гостей постепенно меняется: «блумсбериек» становится едва ли не больше, чем блумсберийцев. Вирджинии это определенно нравилось, что, впрочем, не мешало хозяйке дома, в свойственной ей несколько развязной манере, отпускать вновь прибывшей на Фицрой-сквер гостье комплименты довольно сомнительного свойства. Вот как она, со слов Адриана, «приветствовала» свою знакомую мисс Коул, впервые попавшую на «четверг» в июле 1909 года:

«Вы ведь всегда одеваетесь столь изысканно, мисс Коул. У вас такой оригинальный вид, в вас что-то есть от морской раковины. Когда вы появляетесь в своих несравненных нарядах среди наших грязных сапог и дымящихся трубок, выглядите вы тем более утонченно».

Общаясь по преимуществу с представительницами прекрасного пола – с Мэдж Воган, Вайолет, Джанет Кейс, – Вирджиния, надо полагать, впервые задумывалась о специфически женском восприятии реальности, о том, чему лет двадцать спустя она посвятит «Свою комнату».

На общем «феминистском» фоне «женских четвергов» выделяются две участницы. Во-первых, Кэтрин Кокс, которую называли Ка-Кокс, а еще – «олицетворением юной женственности». Умная, рассудительная, не слишком эмоциональная молодая особа, Ка-Кокс входила в общество так называемых неоязычников.

Как и блумсберийцы, неоязычники ратовали за свободу нравов, за атеизм (отсюда и название их движения), за эмансипированность женщин – и мужчин тоже. Вместе с тем, в отличие от питомцев Мура, неоязычники были приверженцами социально активной жизненной позиции, яркими противниками «расслабленных» эстетов и декадентов и заядлыми спортсменами. Неоязычников отличали стремление к простой, незамысловатой, «здоровой» жизни, социалистические (фабианские) убеждения, неприкрытый антисемитизм и гетеросексуальность (в отличие от гомосексуализма блумсберийцев). Через Ка-Кокс, посещавшую блумсберийский клуб «По пятницам», Вирджиния познакомилась и подружилась с одним из самых блестящих неоязычников, уже упоминавшимся Рупертом Бруком, на дух не переносившим эстетства и отрешенности блумсберийцев.

«Он ходил исключительно босиком, – вспоминала Вирджиния, – с отвращением относился к табаку и мясу, жил и спал под открытым небом, купался в ледяной воде, придерживался рыбной диеты и терпеть не мог книг и книгочеев».

Зато любил живую природу, которую описывал с исключительной поэтической искренностью:

Весь день смеются воды под ветрами,
Согретые небесными лучами,
Но вот мороз движение сковал
И пляску волн и блеском безмятежным
Холодной бледной ночи осиял
Покой великий, ровный и безбрежный²⁹.

И, во-вторых, леди Оттолайн Моррелл, покровительница искусств, эксцентричная аристократка с пронзительным голосом, бирюзовыми глазами, хищным носом, экзотическими туалетами и манерами, «с головой Медузы, золотыми подвесками в ушах, волочащимся по земле подолом, мириадами лисьих хвостов»³⁰. И с весьма заносчивым нравом. Чем-то леди Моррелл – очень высокая, статная, величественная, говорившая, растягивая слова, вдохнувшая в «четверги» не свойственный им светский лоск, – напоминала герцогиню из «Алисы в стране чудес».

«Нас всех занесло в этот невысказанный круговорот, – вспоминала Вирджиния про салон леди Моррелл на Бедфорд-сквер. – Кого там только не было: и злоеущий Огастес Джон в тесных черных ботинках и бархатном сюртуке. И Уинстон Черчилль, румяный, весь в золотом кружеве, по пути в Букингемский дворец. И Реймонд Асквит, искрящийся остроумными репликами...»

Салон леди Оттолайн посещался, как сказали бы в советское время, «выдающимися деятелями искусства», и почти у всех был с хозяйкой салона роман. На Бедфорд-сквер бывали и известные художники Огастес Джон и Дункан Грант, и искусствоведы (Роджер Фрай), и поэты Уильям Батлер Йейтс и Томас Стернз Элиот, и философ Бертран Рассел, и модные прозаики «новой волны» – Олдос Хаксли, Дэвид Герберт Лоуренс. Совсем еще юный тогда Лоуренс жаловался, что сходит с ума от ежевечерних словесных прений, нескончаемых бесед «ни о чем». И тот и другой выведут леди Моррелл в своих книгах; Лоуренс – во «Влюбленных женщинах» в образе Гермiony Роддис, где леди Моррелл предстанет карикатурой на капризную, мстительную светскую даму, увлеченную великими людьми; Хаксли – в своем первом романе «Желтый кром». Бывает у «герцогини» на Бедфорд-сквер, а также в литературном салоне ее мужа, члена Парламента сэра Филипа Моррела в имении Гарсингтон-мэнор, в нескольких милях от Оксфорда, и Вирджиния.

Сделавшись единоличной хозяйкой блумсберийского салона, Вирджиния изменилась. Появились уверенность в себе, острый язык, всегдашняя готовность рассуждать на заповедные темы и комментировать – изящно, остроумно, язвительно – реплики собеседников. И, как и раньше, – фантазировать, приходиться в возбуждение от собственных монологов.

²⁹ Руперт Брук. «Мертвые». Перевод Е.Тарасова.

³⁰ Из письма В.Вулф Литтону Стрэчи от 16 декабря 1912 г.

«В процессе речи ее вдруг охватывало волнение, и срывался, как у школьницы, голос. И в этом надтреснутом, дрожащем голосе ощущались чувство юмора и радость жизни», – вспоминал Дэвид Гарнетт.

Изменилась и как женщина: куда только девались угловатость, молчаливость, робость «синего чулка» – и бесцеремонность, робостью и стеснением вызванная. Этой метаморфозы мужчины не могли не заметить и не оценить. В том числе и мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации, как Литтон Стрэчи, о чем мы уже упоминали.

Двадцатипятилетняя Вирджиния живет бурной светской жизнью, она постоянный слушатель «Аиды», «Электры» и опер Вагнера в Куинз-холл, зритель «Орфея и Эвридики» в «Друри-Лейн», участник не только литературных салонов, «четвергов» и «пятниц» на Гордон-сквер, «где не было ничего, чего нельзя было бы сказать, ничего, чего нельзя было бы сделать», но и костюмированных балов вроде проходящего в Ботаническом саду «Пира художников» (“Artists’ Revels”), где, распустив волосы и облачившись в длинные одежды, она изображает Клеопатру. И изображает очень достоверно: тонкие, чувственные губы, пристальный взгляд больших печальных глаз, темные ресницы, прелестный прямой нос.

Кто в это время за ней только не ухаживает, причем с самыми серьезными намерениями! В ее «гареме», как шутила Ванесса, были и годящийся ей в отцы, в прошлом приятель ее матери, поэт и ученый-классик, человек яркий, талантливый, но довольно нелепый, – Уолтер Хэдлам. И художники – Уолтер Лэм и Дункан Грант. Живописи Грант учился в Париже, там Вирджиния с ним и познакомилась; на Фицрой-сквер у Гранта была своя мастерская, и они вместе с жившим у него Мейнардом Кейнсом запросто, «по-соседски» заходили к Стивенам в любое время дня и ночи. Про Уолтера Лэма, отличавшегося редким занудством, елейными манерами и писавшего Вирджинии многостраничные письма, она отзывалась не слишком лицеприятно.

«О чем бы он ни говорил, – записывает она в дневнике 10 января 1915 года, – всё приобретает какой-то неприглядный, невыразительный, тусклый вид; одного его голоса достаточно, чтобы загасить самые пламенные стихи на свете. Впрочем, пламенных стихов он не читает...»

Делают ей предложение (и получают отказ) и куда более блестящие молодые люди, чем Уолтер Лэм. Такие, как Эдвард Хилтон Янг, сын известного эллиниста сэра Джорджа Янга, в будущем известный политик. А еще будущий дипломат, также классик по образованию, высокомерный и алчный Сидни Уотерлоу; в своем дневнике и он тоже, вслед за Литтоном Стрэчи и Леонардом Вулфом, в нескольких словах описал разницу между Ванессой и Вирджинией:

«Ванесса холодна, цинична, артистична. Вирджиния гораздо эмоциональней, жизнь интересуется ее больше, чем красота».

Увивался за ней одно время и дамский угодник Клайв Белл, «радужный Белл», как она его называла. Зимой и весной 1908 года, после рождения первого сына Джулиана, Беллы жили вместе с Вирджинией в Сент-Айвз, и, спасаясь от детского крика и неизбежных в такое время семейных сцен и хлопот по хозяйству, Клайв отправлялся с золовкой на длинные, многочасовые прогулки. Тогда-то у него с Вирджинией и установилась особая интеллектуальная близость («Мы с Беллом проговорили о природе добра до часа ночи»). Но только интеллектуальная. Шансов добиться успеха у радужного Белла было немного. Во-первых, Вирджиния была с детства предана старшей сестре, которая, надо признать, одно время, когда намечался этот внутрисемейный любовный треугольник, даже ревновала мужа к сестре – пока не отвлеклась на собственный роман с Роджером Фраем. Предана, при этом, очень возможно, завидовала ее семейному счастью и благосостоянию, и в то же время боялась это счастье нарушить. А, во-вторых, сексуальная сторона жизни Вирджинию уже тогда занимала не слишком; в мужчинах,

которые за ней ухаживали, ее интересовало то, что выше, а не ниже пояса. И увлекалась она (сознательно или бессознательно) теми мужчинами, которые, подобно Литтону Стрэчи, предлагали ей свою дружбу, а не любовь, не домогались ее как женщины. Женщины столь же красивой, сколь и недоступной. Вот как описывает ее в те годы одна из посетительниц четвергов на Фицрой-сквер 29, ее приятельница Розамунд Леманн:

«Она была необычайно красива – аскетичной, интеллектуальной красотой: высокая, худая, строгие черты длинного, узкого лица готической мадонны, большие печальные глаза под изящно припухшими веками. Особым очарованием обладал ее голос – легкий, музыкальный, с хрипотцой. Когда она протягивала к камину свои тонкие пальцы, то в отсветах пламени они были такими прозрачными, что казалось, будто угадываешь под кожей длинные, хрупкие кости».

Красива и озорна. Увлекалась (как, впрочем, и другие блумсберийцы) всевозможными играми – на игровой характер блумсберийского сообщества обращали внимание многие критики и историки. У нее, у Ванессы, Клайва Белла, Сэксона Сидни-Тёрнера и Адриана было, помимо четверговых дискуссий, «Клуба по пятницам» и «Общества чтения пьес», еще несколько любимых игр. Одна – в слова: называлась буква, и выигрывал тот, кто за полминуты (время фиксировал дотошный Клайв) напишет больше всего слов. Другая – «роман в письмах» или «бал-маскарад»: участники, назвавшись вымышленными именами и исполняя роли вымышленных персонажей, вступают в переписку, что позволяет им обмениваться чистосердечными мнениями друг о друге, чего бы они едва ли позволили себе в реальной жизни.

Вместе с младшим братом Адрианом и его кембриджским приятелем Хорасом Коулом, большими искусниками по части «практических шуток», Вирджиния, переодевшись абиссинцем (тюрбан, золотая цепь до пояса, вышитый кафтан), заявила на флагманский линкор королевского военно-морского флота «Дредноут». Командующий флотом его величества был предупрежден юными мистификаторами, что на линкор явится почетная делегация во главе с императором Абиссинии, однако перепроверить информацию не счел нужным. И 10 февраля 1910 года «абиссинская делегация» поднялась на борт флагмана. Роль императора с блеском исполнил изъяснявшийся на суахили (специально по этому случаю выучил два-три слова) Энтони Бакстон; в его свиту вошли, приклеив усы и бороду и густо вымазав лица ваксой, «абиссинцы» Дункан Грант и Вирджиния Вулф. Адриан в криво надетом цилиндре, смахивающий, по его собственным словам, на «убогого коммивояжера», играл роль переводчика, который переводил почтенным гостям экскурсию, устроенную абиссинцам рачительными хозяевами, причем говорил смеха ради цитатами из Вергилия – доблестным британским морякам римский поэт, да и латынь, на которой он изъяснялся, были вряд ли известны. Что же касается Хораса Коула, то ему, организатору и вдохновителю сего запоминающегося действия, которому *Daily Mirror* от 16 февраля посвятила первую полосу, досталась роль чиновника британского МИДа, по долгу службы сопровождавшего почетных гостей из далекой Африки. И подобный спектакль Коул разыгрывал не впервые: годом раньше мошенник с не меньшим блеском сыграл роль султана Занзибара, посетившего «с официальным визитом» Кембридж, где его в здании городской ратуши принимал мэр города... Что до Вирджинии, то ей как писателю грех было не использовать этот эпизод из ее жизни: героиня ее рассказа «Общество» из раннего сборника «Понедельник ли, вторник» переодевается эфиопским принцем и поднимается на борт одного из кораблей его величества.

На некоторое (короткое, впрочем) время Вирджиния увлекается политикой: вместе с Ванессой и Джорджем празднует победу на выборах лейбористов, за которых будет неизменно голосовать и в дальнейшем. Активно участвует в движении за права женщин: бок о бок с молодыми, решительными, фанатичными представительницами прекрасного (но отнюдь не

слабого) пола занимается историей феминизма, рассылает письма и даже сидит в президиуме на собраниях – не выступает, правда, ни разу.

Вновь, как это было после нервного срыва, проявилась у нее тяга к путешествиям. В апреле 1909 года Вирджиния едет с Беллами во Флоренцию, чем доставляет Клайву немалое удовольствие, каковое Ванесса, при всей своей любви к Козочке, разделяет едва ли. С Беллами же постоянно наезжает в Париж: сестра с мужем – франкофоны и франкофилы, помешанные на французском, в особенности современном, искусстве. Одно время Беллы даже всерьез подумывали, не переехать ли во Францию; не переехали, но с конца двадцатых годов проводили лето на юге Франции, где купили под Марселем в Кассисе дом. В отличие от сестры, Вирджиния предпочитала родные осины; уговорам Клайва, Роджера Фрая, Литтона Стрэчи, что, мол, «нет в мире лучше края», не поддавалась, да и французский так толком и не выучила: читала свободно, а вот говорила с трудом.

В августе того же 1909 года отправилась с Адрианом и Сидни-Тёрнером в Байройт на вагнеровский фестиваль, где, если верить младшему брату, вид имела подчас прекомичный. Когда, к примеру, часами, доводя бедных баварских продавщиц до слез, выбирала в магазине нужный ей зонтик от солнца: зонтик должен был быть обязательно белым и обязательно с зеленой подкладкой. Или когда, по своему обыкновению, выходила из здания оперы посреди «Парсифаля» или «Лоэнгрина», не дождавшись антракта.

«Выходя из оперы во время действия, вид мы имели, должно быть, довольно нелепый, – писал Ванессе из Германии Адриан, который, как выясняется, был вовсе не лишен чувства юмора. – В одной руке Козочка держала зонтик от солнца, большую кожаную сумку, пачку сигарет, коробку шоколадных конфет и либретто оперы, другой же тщетно пыталась подхватить длинный белый плащ и юбку, которые, как бы высоко она их ни поднимала, полоскались в пыли... Пытаться избавить Козочку от ее покупок было совершенно нереально, ибо, стоило только к ним прикоснуться, как они, одна за другой, падали на землю. Не успели мы найти какую-то безлюдную поляну и сесть, как Вирджиния пустилась в свои самые невероятные фантазии».

О фантазиях следует сказать особо. В эти годы у готической мадонны (такой Вирджиния Вулф запомнилась и нам по многочисленным портретам и фотографиям) появилась и еще одна особенность, выдающая в ней, кстати говоря, будущую писательницу. Умение «додумать», «дописать» характер человека, ей совершенно не известного, по какой-то одной бросающейся в глаза черте. И не только характер, но и поступки и даже обстоятельства жизни. Так, как она это продемонстрировала в заключительном пассаже своего рассказа «Ненаписанный роман», о котором еще будет сказано:

«И всё же последний взгляд на них – они сходят с тротуара, она огибает большое здание следом за ним... Загадочные незнакомцы! Мать и сын. Кто вы такие? Почему идете по улице? Где будете спать сегодня, где завтра?.. Я пускаюсь вслед за ними... Куда б я ни шла, я вижу вас, загадочные незнакомцы, вижу, как вы заворачиваете за угол, матери и сыновья; вы, вы, вы. Я прибавляю шаг, иду следом за вами...»³¹

Или в уже упоминавшемся эссе «Мистер Беннет и миссис Браун», которое родилось из доклада, прочитанного Вирджинией в Кембридже в мае 1924 года на обществе «Еретиков», и которое было опубликовано в июле того же года в журнале Элиота *Criterion* под названием

³¹ Перевод Л.Беспаловой.

«Характер в художественном произведении». В этом эссе Вирджиния описывает неизвестных ей соседей по вагону, которых она называет «мистер Смит» и «миссис Браун»:

«По молчанию миссис Браун, по напряженной учтивости, с какой говорил мистер Смит, было очевидно, что он имеет над ней какую-то власть, которой явно тяготится. Речь могла идти о разорении ее сына, или о каком-нибудь печальном эпизоде из ее жизни или из жизни ее дочери. Возможно, она ехала в Лондон подписать какие-то бумаги, касающиеся ее имущества. Очевидно было одно: она находилась во власти мистера Смита...»

Я живо представила себе миссис Браун в самых различных ситуациях. Я вообразила ее в доме на морском берегу: вокруг уличные мальчишки, макеты кораблей за стеклом. На камине – медали мужа. Она вбегает и выбегает из комнаты, присаживается на стулья, хватая с тарелок еду, подолгу молча смотрит перед собой... И тут, в эту фантастическую уединенную жизнь, врывается мистер Смит. Вижу, как он внезапно появился, – словно ветром занесло. Колотит в дверь, врывается. Вокруг зонтика в прихожей образуется лужа. Садятся друг против друга переговаривать».

Или, много позже, в описании служанки во время одного из путешествий Вулфов по Франции:

«В Карпентрасе вчера вечером мы встретились со служаночкой, у нее были честные глаза, кое-как расчесанные волосы и черный передний зуб. Я почувствовала, что жизнь непременно раздавит ее. Возможно, ей лет восемнадцать; немного больше; плывет по течению, надежд никаких; бедная, не слабая, но управляемая – но еще не настолько управляемая, чтобы не испытывать жгучего, сиюминутного желания путешествовать на машине... Она выйдет замуж? Станет одной из толстых, что сидят в дверях и вяжут? Нет, я предрекаю ей некую трагедию, потому что у нее хватает ума завидовать нам с нашим “ланчестером”»³².

Как заметила сама Вирджиния в своем эссе «Как читать книги»:

«Нам становится страшно интересно, как живут эти люди... Кто они, что собой представляют? Как их зовут, чем они занимаются, о чем думают, мечтают...»³³

И, как выразился Квентин Белл:

«У воображения Вирджинии отсутствуют тормоза».

³² «Дневник писательницы». С. 234. 9 мая 1933 г.

³³ Перевод Н.И.Рейнгольд.

Глава шестая

«Отыскать на дне морском эти жемчужины...»

1

Мы сказали – «будущую писательницу». А между тем начинает Вирджиния писать еще в родительском доме на Гайд-парк-гейт, в уже описанной нами, бывшей «бело-голубой» (белые стены, голубые занавески на окнах) детской на предпоследнем этаже. Там же, где среди разбросанных по столу и по полу книг принимала подруг, читала и занималась с Джанет Кейс греческим и латынью. Пишет стоя, за высоким столом со скошенной столешницей. Работать стоя ей нравилось и тогда, и много лет спустя, – точно так же писала свои картины старшая сестра.

В декабре 1904 года в женском приложении к лондонскому католическому еженедельнику *Guardian* с разницей в неделю выходят два эссе (оба не закончены) двадцатидвухлетней рецензентки: «Сын королевского Лэнгбрита» и «Хоурт, ноябрь 1904 года». В первом говорится об одноименной книге известного американского писателя, журналиста, издателя и критика Уильяма Дина Хоуэллса; во втором – о поездке Вирджинии в Хоурт, на родину горячо ею любимых сестер Бронте. Литературный дебют будущего классика был не столь уж удачен: вскоре после первых двух рецензий *Cornhill Magazine* забраковал ее статью о письмах Джеймса Босуэлла, да и «Хоурт» не вызвал у мэтров большого энтузиазма: политик и литератор Р.Б.Холдейн в письме Вайолет Дикинсон отозвался о пробе пера Вирджинии довольно кисло:

«Эти места вызывают у меня огромный интерес. А потому упоминание об этой книге в печати заслуживает добрых слов – автор, однако, мог бы поглубже погрузиться в предмет своего исследования».

Вообще, «путь в критики», поиск «предмета своего исследования» был для Вирджинии Стивен совсем не так прост, и поначалу прокладывала она его с трудом. Как и полагается начинающему критику, она рецензировала всё подряд, тем более что нужны были деньги, а одна рецензия, в зависимости от авторитетности издания, стоила в те годы от трех до пяти (и даже десяти – *Times*) фунтов стерлингов – сумма вполне приличная. Писала рецензии на книги по истории, на путевые очерки, на романы (как правило, второсортные), на феминистские книги («Женский мотив в художественной литературе»). Писала и эссе, первое время очень короткие и тоже на самые разнообразные темы – об уличных музыкантах, например, или о природе смеха, или об упадке эссеистического жанра. Случались – правда, редко – и задания более ответственные: скажем, отрецензировать для того же *Guardian* роман Генри Джеймса «Золотая чаша». Бывало, ее труды из редакций газет и журналов возвращали или же сильно сокращали. Из *Times Literary Supplement* ей вернули эссе о Екатерине Медичи на том основании, что оно «недостаточно академично». А если не возвращали, то правили, и сильно – в основном за резкий тон.

«Рецензируя, получаю огромное удовольствие оттого, что говорю гадости, а ведь приходится быть уважительной», – пишет она в это время Мэдж Воган.

А еще правили и сокращали за высказывание откровенных взглядов на две заповедные темы: секс и религия.

«Миссис Литтлтон (редактор Guardian. – А.Л.) тычет своим толстым большим пальцем в мои изысканные фразы, стремясь исправить допущенные мной моральные изъяны, – жалуется она в письмах Вайолет Дикинсон. – А Cornhill Magazine не желает называть проститутку проституткой, а любовницу любовницей».

Литературным дебютом ни «Сына королевского Лэнгбрита», ни «Хоурт, ноябрь 1904 года» не назовешь. Вирджиния ведь, как мы знаем, уже много лет пишет в стол – ведет дневник, выпускает домашнюю газету, сочиняет эссе, путевые очерки, комические биографии своих знакомых и родственников – страсть к пародии, стилизации отличала ее «пробы пера» с детских лет. И пробы не только комические: вместе с историком Мейтлендом пишет – на правах не столько опытного биографа, сколько близкого родственника – жизнеописание сэра Лесли Стивена. Пишет, впрочем, – сильно сказано: задача Вирджинии была скромнее, в большей степени секретарская, чем литературная и исследовательская, – отобрать и переписать начисто письма отца, которые считала нужным включить в книгу Мейтленда «Жизнь и эпистолярное наследие сэра Лесли Стивена».

Еще в 1903 году задумывает пьесу, которую так и не сочинит:

«В пьесе выведу мужчину и женщину. Покажу, как они взрослеют; они так никогда и не встретятся, не узнают друг друга – однако зрителя не покидает чувство, что с каждой минутой они становятся всё ближе и ближе. Когда же они вот-вот увидятся (их разделяет только дверь), встреча срывается, и больше им уже не встретиться. Пьесу переполняют бесконечные разговоры и излияния чувств».

Пишет в стол, ибо отдает себе отчет в несовершенстве написанного. Со временем, однако, нащупывает свою манеру письма, пытается эту манеру определить:

«Мое единственное оправдание – в том, что я пишу о вещах так, как я их вижу, – замечает она в письме Мэдж Воган. – Я прекрасно сознаю, что мой взгляд на мир очень узок и довольно анемичен... Однако сейчас у меня такое чувство, будто этот зыбкий, призрачный мир, мир без любви, или сердца, или страсти, или секса, – это мир, который мне важен, мне интересен. И хотя тебе он может показаться призрачным, и адекватно выразить его я не в состоянии, для меня он совершенно реален».

Только, пожалуйста, не подумай, что я удовлетворена, что мои взгляды окончательно сформировались. Мне, вместе с тем, кажется, что лучшие писать о вещах, которые чувствуешь, чем барахтаться в том, что абсолютно непонятно. Грубая, непростительная ошибка, которую совершают многие писатели, – погрязнуть в чувствах, не понимая их... Вещи, которые я тебе послала, – не более чем эксперимент, и я никогда не стану пытаться выдавать их за законченную работу. Будут лежать в столе до окончания века».

Вирджиния поскромничала: многое из написанного в те годы лежать в столе «до окончания века» не будет. С конца 1904 года ученический период завершен, она печатается далеко не только в *Guardian*, появляются ее эссе и в *Speaker*. И в ежемесячном *Cornhill Magazine* – первом блине, который вышел комом. И, в первую очередь, в авторитетном *Times Literary Supplement*; в марте 1905 года главный редактор *TLS* Брус Ричмонд напечатал статью Вирджинии под названием «Литературная география» – и с этого дня будет охотно публиковать статьи и рецензии писательницы до самой ее смерти. Число текстов молодой Вулф, принятых к публикации в ведущем литературном журнале Англии, с каждым годом неуклонно растет. В 1916 году Рич-

монд печатает двенадцать ее статей, в 1917-м – уже тридцать две, всего же за десять лет, с 1904-го по 1913 год, в различных периодических изданиях вышло более 150 рецензий, а также несколько рассказов. И почти все за подписью “A.S.” – «Аделаина Стивен».

Печатает статьи и рецензии Вирджинии Аделаины Стивен не только Ричмонд: за свою жизнь Вулф публиковалась едва ли не во всех крупных периодических изданиях Англии и Америки. И в авангардных – вроде *Egoist* Ричарда Олдингтона, или *Criterion* Элиота, или *English Review* Форда Мэдокса Форда, или *Atheneum* Джона Миддлтона Марри. И в солидных академических, таких, как *Nation*, *Yale Review*, *New Statesman*, *Listener*, *New Republic*. И в популярных, «глянцевых», как мы их теперь называем, типа «Вог» или «Космополитен». И всё же *Times Literary Supplement* всегда оставалось для нее на первом месте. *TLS* многим обязано Вирджинии Вулф, но и Вирджиния за время своего сотрудничества с ведущим английским критическим журналом прошла отличную школу:

«Своей техникой письма, умением обращаться с формой я обязана тому, что в течение стольких лет писала для Times Literary Supplement. Я научилась быть лаконичной, научилась делать свой материал доступным и интересным, научилась внимательно читать».

Научилась (в сущности, всегда, с детства умела) распоряжаться своим временем, в том числе и временем рабочим – писала, если не заболела, с утра, всегда в одно и то же время. Знала за собой способность придерживаться, как она выражалась, «автоматической шкалы ценностей»; знала и гордилась этой способностью.

«В общем-то, у меня есть внутренняя автоматическая шкала ценностей, и она решает, как мне лучше распорядиться моим временем. Она диктует: “Эти полчаса надо посвятить русскому языку”. “Это время отдать Вордсворту”. Или: “Пора заштопать коричневые чулки”».

И не научилась быть терпимой к критическим разборам ее собственных сочинений. Пренебрегала известным советом Владимира Набокова, высказанным, впрочем, много позже:

«Равнодушие к нелицеприятной критике – не признак скромности, но для здоровья свойство весьма полезное»³⁴.

К ее замечаниям в дневнике, что, мол, она абсолютно равнодушна к тому, что про ее книги скажут, едва ли стоит прислушаться и воспринимать эти слова буквально. Это Вирджиния так себя успокаивает, настраивается на «позитивный» лад. Ей все время, не только в начале литературной карьеры, будет казаться, что к ее творчеству относятся недостаточно серьезно, что критики не придают ее книгам должного значения. Не потому ли она так часто говорит и пишет о том, как важна для нее похвала, какое значение она, не уверенная в себе, придает комплиментам? Чем это объясняется? Хрупкой психикой? Или профессиональным комплексом викторианской сочинительницы, воспитанной на необходимости бороться за то, чтобы к тебе и к твоему творчеству относились так же серьезно, как к творчеству представителей сильного пола? Скорее всего, и тем и другим.

По той же причине она никогда не научится спокойно, без ревности относиться к похвалам другим писателям, будет воспринимать их выпадом против себя: как, дескать, можно превозносить Элиота, Литтона Стрэчи или Форстера, когда есть она, Вирджиния Вулф?! Вот что записывает в дневнике Вирджиния 29 декабря 1940 года, за три месяца до смерти:

³⁴ Деспот в своем мире. Интервью В.Набокова критику, корреспонденту газеты «Цайт» Дитеру Циммеру от 28 октября 1966 года. Перевод Дарьи Андреевой. См.: Иностранная литература, 2017, № 6. С. 148.

«Когда Десмонд хвалит “Ист Коукер”³⁵, вызывая у меня ревность, я хожу по пустоши и повторяю: я есть я и должна вести свою борозду, а не повторять чужую. Это единственное оправдание моей работы, моей жизни»³⁶.

Некоторые особенности отношения писательницы к своему дарованию, «к себе в искусстве» дают себя знать гораздо раньше. С одной стороны, это непреходящая любовь к своему делу; счастье для нее, как и для Годунова-Чердынцева из «Дара», возможно только «с пером в руке»:

«Осмыслены лишь те человеческие творения, которые доставляют творцу счастье. Мои собственные сочинения так мне нравятся потому, что я люблю писать, и абсолютно равнодушна к тому, что€ про них скажут. Чтобы отыскать на дне морском эти жемчужины, нырять приходится на немислимую глубину – но они того стоят».

С другой же (а, впрочем, здесь ведь нет противоречия), – откровенное признание того, как тяжело «это дело» ей дается. Однажды, в который раз себя переписывая, Вирджиния в сердцах воскликнула:

«Еще ни одна женщина на свете не относилась к сочинительству с такой ненавистью, как я».

Тяжело дается – из-за крайней к себе придирчивости. Причем ко всему, ей написанному, – и в ранние годы тоже. Хотя рецензии в то время печатались в английской периодической печати, как правило, анонимно, Вирджиния переписывает свои критические тексты (а впоследствии и художественные) по многу раз – в том числе и те, которые уже вышли из печати.

«Буквально каждую газетную статью Вирджиния Вулф переписывала многократно», – подтверждает в предисловии к ее посмертному сборнику «Смерть ночной бабочки и другие эссе» Леонард Вулф.

И каждый следующий вариант ей нравится немногим больше предыдущего. А если и нравится сегодня, то завтра может показаться пустым и надуманным:

«Все утро писала с невероятным удовольствием, что странно, ведь я всякую минуту знаю: быть довольным тем, что пишу, у меня нет никаких оснований, и через шесть недель, а может, и дней возненавижу написанное... Все в один голос будут меня уверять, что ничего лучше они никогда не читали, а за глаза – ругать, и правильно делать».

И подобных записей, как мы еще увидим, в дневнике много; каждая книга, над которой она работала или которую, еще не начав писать, обдумывала, доставляла ей огромное удовольствие – и в то же время стоила невероятных усилий: «нырять за жемчужинами» и в самом деле приходилось на «немислимую глубину». И, развивая эту метафору, – не только «нырять», но и «выныривать». Начинаящий литератор, Вирджиния обращается за советом к людям, чьим мнением дорожит, прежде всего – к Вайолет Дикинсон, Литтону Стрэчи, Клайву Беллу. К Беллу – чаще остальных; сохранились такие, например, «просительные» письма к нему еще молодой писательницы:

«Мой дорогой Клайв, ты сочтешь меня большой занудой, если... я попрошу тебя высказаться о моем злополучном творении? У меня сейчас

³⁵ Вторая часть поэмы Т.С.Элиота «Четыре квартета» (1943).

³⁶ «Дневник писательницы». С. 396. 29 декабря 1940 г.

такое чувство, будто всё это ошибка; скажи, так ли это. Как бы то ни было, я тебе полностью доверяю; очень надеюсь, что еще не надоела тебе своими просьбами, и ты скажешь мне всю правду...»

Это впоследствии она ни под каким видом никому (даже мужу) не станет показывать написанное, пока не поставит, как она выражалась, «жирную точку».

«Я ужасная эгоистка в отношении своих сочинений, – напишет она в сентябре 1924 года своему приятелю, жившему в Англии французскому художнику Жаку Равера. – Когда пишу, практически ни о чем больше не думаю, и то ли из самомнения, то ли из робости, чувствительности, – называйте, как хотите, – никогда о том, что пишу, не говорю. Не говорю до тех пор, пока кто-нибудь не извлечет из меня этой мистерии раскаленными щипцами».

2

Переписала, причем с начала до конца и не меньше семи раз (а последние главы, по словам Леонарда Вулфа, – не меньше десяти раз), «отыскивая на дне морском эти жемчужины», и свой первый роман. Первоначально, когда Вирджиния еще только приступила к работе (октябрь 1907 года), она назвала его «Мелимброзия», а затем – «По морю прочь» (*“The Voyage Out”*), и проработала над ним в общей сложности больше шести лет. Это его в письме Беллу она называет «злополучным творением». Тем не менее, «злополучное творение» заслужило немало похвал – и, прежде всего, за связность, логичность повествования; ни того, ни другого у зрелой Вулф не будет. А также, как сказано в рецензии на роман, напечатанной в *Observer*: «за постоянное стремление сказать не то, что от тебя ожидают, а то, что есть на самом деле».

Критических замечаний тоже хватало. Говорили, что роман – его в 1915 году выпустит небольшое лондонское издательство, владельцем которого был сводный брат Вирджинии, но не Джордж, а Джеральд Дакуорт, – вполне традиционен. Что тема любви и смерти – а именно так критики единодушно восприняли путешествие героини в Южную Америку, где она влюбляется и умирает, – прямо скажем, не нова. Что «По морю прочь» – это не более чем очередной роман воспитания; в процессе повествования героиня перерождается: уехала одним человеком, а вернулась бы (если б не умерла от таинственной инфекции) совсем другим.

Блумсберийцы же этот первый крупный литературный опыт писательницы почти единодушно одобрили. Литтон Стрэчи назвал роман «совершенно не викторианским» – уж ему-то, казалось бы, и карты в руки. Главное же, блумсберийцы увидели в книге то, что хотели увидеть (и то, что, как мы уже знаем, больше всего ценили в искусстве): преобладание духовного начала над материальным, повышенный интерес к передаче чувств, к психологическому рисунку и «пониженный» – к интриге, сюжетной динамике. Увидели и самих себя: воспользовавшись опытом четверговых споров, Вирджиния ярко, наглядно и довольно ядовито вывела в романе типичного блумсберийца – интеллектуала-правдоискателя Сент-Джона Хёрста.

И всё же: традиционен роман или нет? Когда читаешь дебютную книгу большого писателя, поневоле всматриваешься в текст в поисках первых, быть может, еще робких признаков будущего величия. В этом смысле мы, сегодняшние читатели, находимся в положении более выгодном, ведь современники безвестного на тот момент автора, да и сам автор, в отличие от нас, не подозревали, кем этому автору суждено стать, и этих «фамильных признаков» не замечали, не могли заметить.

Начинаешь читать «По морю прочь», и фамильных признаков экспериментальной прозы Вирджинии Вулф, автора «На маяк» и «Волны», действительно не замечаешь. Первое впечатление: перед нами традиционная комедия нравов. Повествование многословное, неторопливое, плавание в Южную Америку главных героев, Хелен и Ридли Эмброуз и их племянницы Рэчел, дочери судходного магната Уиллоби Винрэса, растягивается не меньше чем на сто страниц. Протагонист, двадцатисемилетний начинающий писатель Теренс Хьюит «с большими глазами, загороженными очками»³⁷, первый раз появится только на двухсотой. Читателю предлагается погрузиться в пространные описания природы, увлечься лирическими и историческими отступлениями: в книге дается подробный экскурс в историю вымышленного бразильского городка Санта-Марина, куда направляются персонажи романа. Предлагается посмеяться над «старым кузнечиком в очках» Уильямом Пеппером, который «перелагал персидские стихи на английскую прозу и английскую прозу – на греческие ямбы», а также над типично диккенсовской толстухой миссис Чейли и над начинающим писателем, тщеславным снобом, назвав-

³⁷ Роман «По морю прочь» здесь и далее цитируется в переводе Артема Осокина.

шим свой первый роман «Молчание, или То, о чем не говорят». Подобные карикатуры – тоже ведь неотъемлемая черта давней английской литературной традиции.

Пока пароход неспешно бороздит просторы Атлантического океана, герои старого доброго английского романа-беседы (действие которого, правда, чаще происходит не на корабле, а на уик-энде в загородном поместье) услаждают себя интеллектуальными разговорами о Вагнере и Шекспире, играют на фортепиано, между приступами морской болезни флиртуют – впрочем, строго в рамках приличий. Читают Ибсена: «Какая правда стоит за всем этим?» – раздумывает склонная к философским раздумьям Рэчел. Спорят о всеобщем избирательном праве: «Мужчины и женщины слишком отличаются друг от друга...» Тема для тех лет актуальная, для феминистки Вирджинии Стивен – особенно. И, конечно же, неустанно размышляют о жизни, о человеческих отношениях: «Как же эфемерны узы, которые возникают между людьми...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.